

[ОСКАР УАЙЛЪД]



Нелет

продана в 1900 г.

Annotation

Эротический роман, который на основании многочисленных косвенных данных приписывается великому английскому писателю Оскару Уайльду, — настоящая литературная сенсация. Роман был издан анонимно в 1893 году, через три года после «Портрета Дориана Грея», и с тех пор считается абсолютным шедевром в своем жанре. История любви двух молодых людей описана во всех психологических, анатомических и эротических подробностях без какого бы то ни было стеснения; читатель переносится из душной атмосферы борделя в холодную роскошь фамильного особняка, из сияющего концертного зала в студию художника...

- [Телени, или обратная сторона медали](#)

-

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)

- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)

- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)

- [94](#)
 - [95](#)
 - [96](#)
 - [97](#)
 - [98](#)
 - [99](#)
 - [100](#)
 - [101](#)
 - [102](#)
 - [103](#)
 - [104](#)
 - [105](#)
 - [106](#)
 - [107](#)
 - [108](#)
 - [109](#)
 - [110](#)
 - [111](#)
 - [112](#)
 - [113](#)
 - [114](#)
 - [115](#)
 - [116](#)
 - [117](#)
 - [118](#)
 - [119](#)
 - [120](#)
 - [121](#)
 - [122](#)
 - [123](#)
 - [124](#)
 - [125](#)
 - [126](#)
 - [127](#)
 - [128](#)
-

Телени, или обратная сторона медали

— Расскажите мне всё с самого начала, де Грие, — перебил он меня. — Как вы с ним познакомились?

— Это произошло на большом благотворительном концерте, в котором участвовал и он. Хотя любительские представления — одно из множества бедствий современной культуры, я счёл своим долгом присутствовать, поскольку в числе патронесс была моя мать.

— Но он ведь не был любителем?

— Конечно, нет! Однако в то время он только-только начинал завоёвывать известность.

— Ну хорошо, продолжайте.

— Когда я подошел к своему *stalle d'orchestre*^[1] он уже сел за рояль. Первым, что он сыграл, оказался мой любимый *gavotte*^[2] одна из тех приятных, лёгких, изящных мелодий, что навевают запах *lavande ambree*^[3] и напоминают о Люлли и Ватто^[4], о напудренных дамах, одетых в желтые атласные платья и флиртующих со своими поклонниками.

— Что же было дальше?

— Доиграв пьесу, он несколько раз искоса взглянул на патронессу — так, во всяком случае, мне показалось. Когда он собрался встать, моя мать — она сидела сзади — похлопала меня веером по плечу и сделала одно из тех неуместных замечаний, которыми нам беспрестанно докучают женщины, так что к тому моменту, как я обернулся, чтобы поплодировать, музыкант уже исчез.

— И что же случилось потом?

— Дайте подумать. Кажется, что-то пели.

— Но он больше не играл?

— Играл! В середине концерта он снова вышел на сцену. Кланяясь перед тем как сесть за рояль, он, казалось, искал глазами кого-то в партере. Именно тогда, по-моему, наши взгляды встретились впервые.

— Каким он был?

— Довольно высоким, худощавым молодым человеком двадцати четырех лет. Его короткие завитые волосы — прическа, введенная в

моду актером Брессаном, — были необычного пепельного оттенка; как я узнал позже, он всегда слегка их припудривал. Как бы то ни было, его светлые волосы контрастировали с темными бровями и узкими усами. Лицо отличалось той здоровой теплой бледностью, какая, я полагаю, присуща в молодости многим артистам. Глаза его, обычно казавшиеся черными, были темно-синего цвета, и, хотя они всегда казались ясными и безмятежными, внимательный наблюдатель время от времени мог заметить в них тревогу и тоску, как будто музыкант вглядывался в ужасную тьму и видел смутные образы. Эти тягостные видения неизменно рождали на его лице выражение глубочайшей печали.

— В чем же была причина его грусти?

— Сначала всякий раз, когда я спрашивал его об этом, он лишь пожимал плечами и весело отвечал: «Вы никогда не видите привидений?». Когда мы сблизились, его неизменным ответом была фраза: «Моя судьба. Моя страшная, ужасная судьба!» Но затем, улыбнувшись и выгнув брови, он всегда напевал: «Non ci pensiam»^[5].

— Но он же не был угрюмым и задумчивым?

— Нет, вовсе нет; просто он был очень суеверен.

— Как, по-моему, и все артисты.

— Или, вернее, все кто... в общем, подобные нам, ибо ничто не делает людей более суеверными, чем порок...

— Или невежество.

— О! Это суеверие совсем другого рода.

— Был ли в его взгляде какой-то особенный магнетизм?

— Для меня, конечно, был. Однако этот взгляд нельзя было назвать гипнотическим; он был скорее мечтательным, чем пронзительным или пристальным; и все же настолько пронизательным, что с того самого момента, как я увидел музыканта, я почувствовал, что он может глубоко проникнуть в мою душу; и, хотя в выражении его лица не было ни капли чувственности, каждый раз, когда он смотрел на меня, я ощущал, как в моих венах вскипает кровь.

— Мне часто говорили, что он был очень красив; это правда?

— Да, его красота была удивительной и даже больше, — она была необыкновенной. Кроме того, одевался он хотя и безупречно, но слегка эксцентрично. Например, в тот вечер он вставил в петлицу бутонарку из белого гелиотропа, хотя в моде были камелии и гардении. Он

держался как настоящий джентльмен, но на сцене — равно как и с знакомцами — вел себя несколько высокомерно.

— Ваши глаза встретились — и что же дальше?

— Он сел и начал играть. Я посмотрел в программку: это была неистовая «Венгерская рапсодия» неизвестного композитора с такой фамилией, что язык сломаешь^[6] тем не менее она совершенно меня очаровала. Вообще, ни в какой музыке эмоциональный элемент не имеет такой силы, как в музыке цыган. Понимаете, из минорной гаммы...

— Прошу вас, не надо специальных терминов, — я ноты-то едва разбираю.

— В любом случае, если вы когда-нибудь слышали чардаш, вы, должно быть, почувствовали, что, хотя венгерская музыка насыщена редкостными ритмическими эффектами, она режет нам ухо, поскольку весьма отличается от принятых у нас правил гармонии. Сначала эти мелодии возмущают нас, но постепенно мы покоряемся и, в конце концов, оказываемся у них в плену. К примеру, великолепные фиоритуры, которыми они изобилуют, определенно несут на себе отпечаток витиеватого арабского стиля и...

— Оставим в стороне фиоритуру венгерской музыки; продолжайте ваш рассказ.

— В этом-то и состоит трудность — музыканта невозможно отделить от музыки его страны; более того, чтобы понять его, нужно сначала почувствовать чарующую силу, сокрытую в каждой цыганской песне. Душа, однажды очарованная чардашем, всегда трепещет в ответ на эти магические ритмы. Обычно мелодия начинается тихим и спокойным анданте, напоминающим жалобные стенания брошенной надежды, затем постоянно меняющийся ритм, все убыстряясь, становится «необузданным, как прощальные слова влюбленных», и, нисколько не теряя своей мелодичности, но постоянно приобретает новую мощь и торжественность, престиссимо, синкопированное вздохами, достигает пароксизма таинственной страсти, то незаметно переходя в скорбный плач, то внезапно взрываясь пронзительным звуком пламенного и воинственного гимна.

И по красоте, и по характеру сам он был воплощением этой чарующей музыки.

Я слушал его игру как замороженный; однако я едва ли мог бы определить, в чем была причина — в пьесе, в исполнении или в самом пианисте. Странные видения проносились у меня перед глазами. Сначала я увидел Альгамбру^[7] во всем богатстве мавританской архитектуры — эти великолепные симфонии из кирпича и камня, столь похожие на замысловатые узоры цыганских мелодий. Неведомый мне доселе медленный огонь зажегся в моей груди. Я жаждал испытать могущество любви, что сводит нас с ума, толкает к преступлению, сполна прочувствовать губительную страсть живущих на земле под жгучими лучами, испить до дна чашу сладострастного любовного напитка.

Видение изменилось; вместо Испании я узрел бесплодную землю, залитые солнцем пески Египта, орошенные водами ленивого Нила, где стоял и безутешно плакал несчастный Адриан^[8], навсегда потерявший юношу, которого так любил. Околдованный этой нежной музыкой, обостряющей все чувства, я начал понимать то, что раньше казалось мне таким странным, — любовь, что испытывал могущественный монарх к своему прекрасному рабу-греку, Антиною, который, подобно Христу, умер за своего господина. И тогда вся кровь из сердца бросилась мне в голову и затем стекла по венам, как расплавленное олово.

Потом видение перенесло меня в великолепные города Содом и Гоморру — таинственные, прекрасные и величественные. В тот момент игра пианиста зазвучала в моих ушах прерывистым шепотом вожделения и наполнила меня звуком волнующих поцелуев.

В самый разгар видения пианист повернул голову и посмотрел на меня долгим неподвижным взглядом — наши глаза снова встретились. Но кто же он: пианист, Антиной, а может, он — один из ангелов, посланных Богом Лоту^[9]? Кем бы он ни был, его неотразимая красота совершенно покорила меня, и музыка, казалось, шептала:

Приникнуть к взору, как к вину,
Он, сладостно красив,
Перетекает в тишину,
Как музыки мотив.

Волнующая истома становилась все сильнее и сильнее; эта жажда была столь неутолима, что скоро переросла в боль. Из тлеющего огня разгорелось мощное пламя, и все мое тело дрожало и корчилось от безумного желания. Губы мои пересохли, я задыхался; суставы онемели, вены вздулись, но я сидел спокойно, как и вся толпа вокруг. Внезапно моя тяжелая рука легла на колено, и завладела кое-чем, и обхватила, сжала; от вожделения едва я в тот момент не лишился чувств. Рука двигалась вверх-вниз, сначала медленно, а затем быстрее и быстрее — в такт музыке. Голова у меня закружилась — по жилам неся поток кипящей лавы, и несколько капель пролилось наружу... я задыхался...

Неожиданно пианист с громом закончил пьесу под оглушительные аплодисменты всего театра. Я же не слышал ничего, кроме раскатов бури; я видел огненный град, губительный дождь из рубинов и изумрудов, обрушившийся на Содом и Гоморру, и он, пианист, стоял обнаженный в багровом свете, подставляя себя ударам небесных молний и адскому пламени. В своем безумии я узрел, как он вдруг превратился в Анубиса, египетского бога с пёсией головой, а затем постепенно — в отвратительного пуделя. Я вздрогнул, меня затошнило, но он быстро обрел прежний облик.

У меня не было сил аплодировать; я не мог ни говорить, ни двигаться — я был совершенно истощен. Мой взгляд был прикован к артисту, который стоял на сцене и кланялся — равнодушно и презрительно взором, полным «Нежной и жадной страсти», он, казалось, искал меня, меня одного. Какое ликование пробудилось во мне! Но может ли он любить меня, меня одного? В единый миг ликование сменилось жгучей ревностью. «Неужели я схожу с ума?» — спрашивал я себя.

Я смотрел на него, и мне казалось, что на лице его лежит печать глубокой тоски; и — о ужас! — я увидел в его груди маленький кинжал и кровь, струящуюся из раны. Я содрогнулся, я даже едва не закричал от страха — видение было столь реальным. Перед глазами все плыло, меня тошнило; обессиленный, я упал в кресло и закрыл лицо руками.

— Какая странная галлюцинация. Интересно, что ее вызвало?

— Несомненно, это было Нечто большее, чем галлюцинация, — позже вы убедитесь в этом сами.

Когда я вновь поднял голову, пианиста уже не было. Я обернулся назад, и мать, заметив Мою бледность, спросила, не болен ли я. Я пробормотал что-то насчет ужасной жары.

«Выйди в фойе и выпей стакан воды», — сказала она.

«Нет, думаю, мне лучше пойти домой».

Я почувствовал, что не могу больше слушать музыку. Нервы мои расстроились настолько, что сентиментальная песня вывела бы меня из себя, а от еще одной пьянящей мелодии я лишился бы чувств.

Поднявшись, я почувствовал себя таким слабым и измученным, что, казалось, двигался как во сне. Так, не ведая, куда направляю стопы, я машинально пошел за идущими впереди людьми и через несколько минут обнаружил, что нахожусь в фойе.

В холле почти никого не было. В дальнем его конце несколько щеголей окружили молодого человека в вечернем костюме; сам молодой человек стоял ко мне спиной. В одном из собравшихся я узнал Брайанкорта.

— Что? Сына генерала?

— Именно.

— Я помню его. Он всегда весьма броско одевался.

— Совершенно верно. Например, в тот вечер, когда все джентльмены были в черном, он, наоборот, надел белый фланелевый костюм; как обычно, — очень открытый воротник в байроновском стиле и красный галстук от Лавальера, завязанный большим бантом.

— Да, у него была красивая шея.

— Он был очень красив, хотя лично я всегда старался его избегать. Он бросал такие страстные взгляды, что окружающие чувствовали себя неловко. Вы смеетесь, но это правда. Есть мужчины, которые смотрят на женщину, словно раздевают ее взглядом. Брайанкорт глядел так на всех. Я ощущал его взгляд всем телом, и это смущало меня.

— Но вы ведь были с ним знакомы, не так ли?

— Да, мы ходили в один Kindegarten^[10], но я был на три года младше и всегда оказывался в другом классе. Как бы то ни было, заметив его, я хотел было уйти, но тут джентльмен в вечернем костюме обернулся. Это был пианист. Наши глаза снова встретились, и меня охватило странное волнение; околдованный его красотой, я не мог пошевелиться, а затем под действием этих чар, вместо того чтобы

выйти из фойе, я медленно, почти неохотно, направился к группе. Музыкант, хотя и не смотрел пристально, все же не сводил с меня глаз. Меня с головы до ног била дрожь. Казалось, он медленно притягивает меня к себе, и, должен признаться, это чувство было таким приятным, что я полностью отдался ему.

В этот момент Брайанкорт, который меня еще не заметил, обернулся и, узнав, кивнул в своей обычной бесцеремонной манере. Глаза пианиста при этом засветились, и он что-то шепнул Брайанкورتу; ничего не ответив, генеральский сын повернулся ко мне и, взяв за руку, сказал: «Камиль, позвольте представить вас моему Рене. Месье Рене Телени — месье Камиль де Грие».

Я поклонился, залившись краской. Пианист протянул мне руку; перчатки на ней не было. В волнении я снял обе перчатки и вложил свою обнаженную руку в его.

У него была идеальная мужская рука, — скорее крупная, чем маленькая, сильная, но мягкая, с длинными тонкими пальцами, и её пожатие было твердым и крепким.

Кто из нас не испытывал многообразия ощущений от прикосновения руки? Многие люди как будто сами создают температуру вокруг себя. В разгар зимы им жарко, они разгорячены, тогда как другие холодны, словно лед, даже во время летнего зноя. Некоторые руки сухи и шершавы, некоторые — постоянно холодны, влажны и липки. Есть руки полные, мягкие, мускулистые, а есть худые и костлявые. Пожатие одних напоминает железные тиски, другие же слабы, как тряпка. Существует искусственный продукт современной культуры, уродство наподобие ножки китаянки, всегда днем заключенное в перчатку, ночью часто подвергающееся припаркам и украшенное маникюром; они белы, как снег, и чисты, как лёд. Как сжалась бы эта маленькая бесполезная ручка от прикосновений костлявой, мозолистой, загорелой, испачканной рабочей руки, тяжким упорным трудом превращенной в нечто вроде копыта. Одни руки застенчивы, другие непристойно теребят вас; пожатие некоторых лицемерно и вовсе не таково, каким хочет казаться; есть руки бархатистые, елейные; есть руки священника и руки мошенника; открытая ладонь транжиры и сжатая в кулак лапа ростовщика. Кроме того, есть руки магнетические, словно бы имеющие тайное влечение к

вашим рукам; простое их прикосновение приводит в трепет всю вашу нервную систему и наполняет вас радостью.

Как мне выразить все то, что я почувствовал при касании руки Телени? Оно воспламенило меня и в то же время — как это ни странно — успокоило. Насколько оно было приятнее и нежнее поцелуя любой женщины! Я словно ощутил, как его рука медленно и незаметно заскользила по всему моему телу; она ласкала губы, шею, грудь; я с головы до ног задрожал от восторга. Затем она спустилась к вместилищу чувств и страстей, и фаллос, вновь проснувшись, поднял голову. Я в самом деле чувствовал, что Телени овладевает мною, и был счастлив принадлежать ему.

В знак признательности за удовольствие, которое он доставил мне своим исполнением, мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное, но какая фраза, пусть даже неизбежная, могла передать мое восхищение?

«Однако же, джентльмены, — произнес он, — боюсь, я отрываю вас от музыки».

«Лично я как раз собирался уходить», — вымолвил я.

«Значит, концерт вам наскучил?»

«Наоборот. Но, услышав, как играете вы, я больше не могу сегодня слушать музыку».

Музыкант довольно улыбнулся.

«Действительно, Рене, сегодня вы превзошли самого себя, — сказал Брайанкорт. — Никогда раньше не слышал, чтобы вы так играли».

«И знаете почему?»

«Нет — если только причина не в том, что театр набит до отказа».

«О, нет! Просто, играя гавот, я чувствовал, что меня кто-то слушает».

«Кто-то?!» — переспросили молодые люди и рассмеялись.

«Вы думаете, среди французской публики, особенно на благотворительных концертах, много людей, которые слушают? Я имею в виду тех, кто слушает внимательно и воспринимает всей душой и всем сердцем. Молодые люди любезничают с дамами, а те изучают туалеты друг дружки; скучающие отцы либо думают о подъеме и падении акций, либо считают газовые лампы и прикидывают, во сколько обошлось освещение».

«И все же в такой толпе обязательно найдется внимательный слушатель, и не один», — сказал Одилло, адвокат.

«О да, разумеется! Например, барышня, что напевает только что сыгранную пьесу; но едва ли найдется более одного, — как бы это выразить? в общем, более одного сопереживающего слушателя».

«А что значит “сопереживающий слушатель”?» — спросил Куртуа, биржевой маклер.

«Человек, с которым как будто устанавливается связь; кто-то, кто, слушая, чувствует то же, что чувствую я, когда играю, у кого бывают те же видения...»

«Что?! Во время игры у вас бывают видения?» — удивлению спросил кто-то из стоявших рядом.

«Как правило, нет, но когда у меня находится сопереживающий слушатель — всегда».

«И часто у вас бывает такой слушатель?» — проговорил я, ощутив сильный укол ревности.

«Часто? О нет! Редко, очень редко, почти никогда, а если и бывает, то...»

«Что тогда?»

«Все равно не такой, как сегодня».

«А если у вас нет слушателя?» — спросил Куртуа.

«Тогда я играю механически и как-то банально».

«Вы догадываетесь, кто был вашим слушателем сегодня?» — сардонически улыбаясь, спросил Брайанкорт и плотоядно взглянул на меня.

«Конечно же одна из множества прекрасных дам, — промолвил Одилло. — Вы счастличик».

«Да, — добавил кто-то, — хотел бы я быть вашим соседом за табльдотом, чтобы после того, как обслужите себя, вы передавали блюдо мне».

«Это некая прекрасная девушка?» — предположил Куртуа.

Телени пристально посмотрел мне в глаза, слабо улыбнулся и ответил:

«Возможно».

«Как вы думаете, вы когда-нибудь узнаете своего слушателя?» — осведомился Брайанкорт.

Телени вновь остановил взгляд на мне и еле слышно произнес:

«Возможно».

«Но каким образом вы раскроете эту тайну?» — спросил Одилло.

«Его видения должны совпасть с моими».

«Я знаю, каким было бы мое видение, если бы таковое мне явилось», — промолвил Одилло.

«И каким же?» — осведомился Куртуа.

«Две лилейно-белых груди с сосками, похожими на два розовых бутона, а ниже две влажные губки, словно розовые створки раковины, которые по мере пробуждения страсти раскрываются и впускают в сочный роскошный мир темно-кораллового цвета; и еще эти две пухлые губки должны быть окружены нежно-золотистым или черным пушком...»

«Хватит, хватит, Одилло, от вашего видения у меня слюнки бегут и язык жаждет почувствовать вкус этих губок», — проговорил биржевой маклер, сверкая глазами, как сатир; он явно был возбужден.

«Не это ли ваше видение, Телени?»

Пианист загадочно улыбнулся:

«Возможно».

«Что касается меня, — сказал один из молодых людей, до сих пор хранивший молчание, — то видение, навеянное “Венгерской рапсодией”, было бы либо о бескрайних равнинах и цыганских таборах, либо о людях в круглых шляпах, широких штанах и коротких жакетах, скачущих на горячих лошадях».

«Или об одетых с иголочки солдатах, танцующих с черноглазыми девушками», — добавил кто-то.

Я улыбнулся, подумав о том, насколько мои видения отличались от описываемых. Телени, наблюдавший за мной, заметил движение моих губ.

«Джентльмены, — сказал он, — видение Одилло было вызвано не моей игрой, а некой красивой девушкой, которую он пожирал глазами; что до ваших — то это просто реминисценции картин или балетов».

«Так какое же видение было у вас?» — спросил Брайанкорт.

«Я хотел задать вам тот же вопрос», — парировал пианист.

«Мое видение было похоже на видение Одилло, хотя и не во всем».

«Тогда, это, должно быть, была le revers de la medaille^[11] обратная сторона, — рассмеялся адвокат. — То есть два прелестных

белоснежных холмика, а в глубокой впадинке — крохотное отверстие с темными краями, или, вернее, с коричневым ореолом».

«Ну хорошо, а теперь поведайте нам о своем видении», — настаивал Брайанкорт.

«Мои видения столь туманны и расплывчаты, они так быстро рассеиваются, что я не могу их запомнить», — уклончиво ответил музыкант.

«Но они прекрасны, не так ли?»

«И ужасны», — добавил он.

«Словно божественный труп Антиноя, плывущий по мрачным водам Нила при серебристом свете опаловой луны», — сказал я.

Все молодые люди посмотрели на меня с изумлением. Брайанкорт резко рассмеялся.

«Вы поэт или художник, — произнес Телени, глядя на меня из-под полуопущенных век. Он немного помолчал. — Вы правы, это действительно смешно; однако не стоит обращать внимания на мои фантазии, ибо в сочинении каждого художника всегда так много безумного». Глаза его были печальны; он метнув на меня быстрый неясный взгляд и добавил: «Когда вы узнаете меня лучше, то поймете, что во мне больше от безумца, чем от художника».

Он вынул сильно надушенный тонкий батистовый носовой платок и вытер пот со лба.

«А теперь, — сказал он, — не стану вас задерживать своими пустыми разговорами, не то патронесса рассердится, а я не могу позволить себе вызвать неудовольствие дам, не так ли?» — и он украдкой взглянул на Брайанкорту.

«Это было бы преступлением против прекрасного пола», — ответил тот.

«Более того, другие музыканты скажут, что я сделал это назло, ибо никто не наделен такой силой ревности, как любители — будь то актеры, певцы или музыканты, так что au revoir^[12].

Затем, удостоив нас поклоном более низким, чем ранее — публику, он уже было собирался уйти, но снова остановился:

«Но вы, месье де Грие, вы сказали, что не собираетесь оставаться; могу я просить об удовольствии составить вам компанию?»

«С радостью», — отвечал я нетерпеливо.

Брайанкорт вновь иронично улыбнулся — почему, я понять не мог. Потом он стал напевать мелодию из модной тогда оперетты «Мадам Ане»; я разобрал лишь слова “Il est, dit-on, le favori”^[13], которые он намеренно выделил.

Телени, который слышал их так же хорошо, как и я, пожал плечами и что-то процедил сквозь зубы.

«У чёрного хода меня ждет экипаж, — сказал он, мягко взяв меня под руку. — Однако если вы предпочитаете пройтись...»

«Именно так — в театре ужасно душно».

«Да, очень душно», — повторил он, очевидно, думая о чём-то другом, и совершенно неожиданно, словно пораженный внезапной мыслью, спросил: «Вы суеверны?»

«Суеверен? — Его вопрос меня ошеломил. — Да, наверное».

«А я очень суеверен. Думаю, такова моя природа, — видите ли, во мне сильны цыганские черты. Говорят, что образованные люди не суеверны. Так вот, во-первых, я получил жалкое образование, а во-вторых, я полагаю, что, если бы мы действительно разгадали тайны природы, мы, возможно, смогли бы объяснить все те странные совпадения, что происходят постоянно».

Он внезапно замолчал, а потом спросил: «Вы верите в передачу мыслей, чувств?»

«Ну, я не знаю... я...»

«Вы должны верить, — сказал он решительно. — У нас ведь было одно и то же видение. Сначала вы увидели Альгамбру, сверкающую в огненных лучах солнца, не так ли?»

«Так», — ответил я удивленно.

«И вы подумали, что хотели бы позвать ту могущественную губительную любовь, что разрушает и тело, и душу? Не отвечайте. После этого — Египет, Антиной и Адриан. Вы были императором, я был рабом».

Потом, словно разговаривая с собой, он задумчиво добавил: «Кто знает, возможно, однажды я умру за вас!» И его лицо приобрело то милое смиренное выражение, какое бывает у статуй полубогов.

Я посмотрел на него с недоумением.

«О! Вы думаете, я сумасшедший, но я не сумасшедший, я всего лишь излагаю факты. Вы не чувствовали себя Адрианом лишь потому, что не привыкли к таким видениям. Несомненно, однажды все это

станет вам понятнее. Что до меня, то вы должны знать — в моих венах течет азиатская кровь и...»

Но он не закончил фразы, и некоторое время мы шли молча. Затем он сказал: «Разве вы не видели, как во время исполнения гавота я оборачивался и искал вас глазами? Именно тогда я почувствовал вас, но не мог найти; вы ведь помните это?»

«Да, я видел, что вы смотрели в мою сторону, и...»

«И вы ревновали!»

«Да», — произнес я чуть слышно.

В ответ он с силой прижал мои руки к своему телу и, помолчав, добавил торопливым шёпотом: «Вы должны знать, что мне безразличны все девушки на свете, и всегда были безразличны; я никогда не мог любить женщину».

Мое сердце лихорадочно стучало; я задыхался, словно что-то схватило меня за горло. «Зачем он говорит мне это?» — спрашивал я себя.

«Разве тогда вы не ощутили запаха духов?»

«Запаха? Когда?»

«Когда я играл гавот; возможно, вы забыли».

«Подождите, вы правы — что это были за духи?»

«Lavande ambree».

«Точно».

«Запах, который безразличен вам и не нравится мне; скажите, какие духи вы любите?»

«Heliotrope blanc»^[14]

Вместо ответа он вынул носовой Платок и дал мне понюхать его.

«Наши вкусы совпадают не так ли?» И он посмотрел на меня с такой жадной страстью, что от чувственного голода, отразившегося в его взгляде, у меня закружилась голова.

«Видите ли, я всегда ношу букетик цветов белого гелиотропа; позвольте подарить вам этот, чтобы сегодня ночью его запах напоминал вам обо мне, и, возможно, вы увидите бы меня во сне». И, вынув цветы из своей петлицы, он одной рукой вставил их в мою, а другой мягко обхватил меня за талию, крепко обнял и на несколько секунд прижался ко мне всем телом. Это мгновение показалось мне вечностью.

На губах я ощущал его горячее учащённое дыхание. Наши колени соприкоснулись и я почувствовал, как к моему бедру прижалось и стало двигаться что-то твердое.

В тот момент я был так взволнован, что едва устоял на ногах.

На мгновение мне показалось, что Телени вот-вот меня поцелует, — его жесткие усы слегка щекотали мне губы, даря восхитительные ощущения. Но он лишь пристально смотрел мне в глаза, и взгляд его выражал дьявольское возбуждение.

Я почувствовал, как огонь его взгляда проникает глубоко в мою грудь и распространяется ниже. Кровь забурлила и запузырилась, как кипящая жидкость, и я ощутил, как мой предмет — что итальянцы называют «птичкой» и изображают в виде крылатого херувима — зашевелился в своей темнице, поднял голову, раскрыл крохотные губки и вновь испустил одну или две капли густой, животворной жидкости.

Но эти несколько слезинок не были успокоительным бальзамом; они показались мне каплями едкого, обжигающего вещества, вызывающими сильное, невыносимое раздражение. Меня истязали. Разум мой превратился в ад. Тело горело. «Он страдает столь же сильно?» — подумал я.

В этот момент он разжал объятия, и его рука безжизненно упала, словно у спящего.

Он отступил и вздрогнул, как от сильного электрического удара. На несколько мгновений он, казалось, ослабел, потом вытер влажный лоб и громко вздохнул. Все краски сошли с его лица, и он побледнел, как мертвец.

«Вы считаете меня сумасшедшим? — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Но кто нормален, а кто безумен? Кто добродетелен, а кто порочен в нашем мире? Вы знаете? Я не знаю».

Я вспомнил своего отца и спросил себя с содроганием, не лишаюсь ли я рассудка.

Повисло молчание. Ни один из нас не произносил ни слова. Телени сплел свои пальцы с моими, и некоторое время мы шли молча.

Сосуды моего члена все еще были расширены, нервы — напряжены, семявыводящие каналы — переполнены, поэтому эрекция не пропадала, и я ощущал, как тупая боль распространяется по гениталиям и вокруг них, тогда как все остальное тело совершенно обессилело; и все же, несмотря на боль и усталость, было очень

приятно спокойно идти, взявшись за руки, и чувствовать, что голова моего спутника едва ли не лежит у меня на плече.

«Когда вы впервые почувствовали мой взгляд?» — спросил он приглушенно через некоторое время.

«Когда вы вышли во второй раз».

«Точно; наши взгляды встретились, и между нами образовалась связь, похожая на то, как электрическая искра бежит по проводу, не так ли?»

«Да, неразрывная связь».

«Но вы ведь почувствовали меня до того, как я вышел на сцену, правда?»

Вместо ответа я крепко сжал его пальцы.

— Наконец я очнулся. Теперь я окончательно проснулся, и мать поведала мне, что, услышав мои стоны и крики, пришла посмотреть, не заболел ли я. Разумеется, я поспешил уверить ее, что чувствую себя превосходно, просто меня мучил кошмар. Она положила прохладную руку на мой пылающий лоб. Нежное прикосновение мягкой руки остудило жар, иссушающий мозг, и уняло огонь, бушующий в крови.

Когда я успокоился, она заставила меня выпить полный бокал сладкой душистой воды, приготовленной из цветов апельсинового дерева, и ушла. Я вновь забылся сном. Однако я несколько раз просыпался, каждый раз видя перед собой пианиста.

На следующий день, когда я проснулся, это имя по-прежнему звенело у меня в ушах, его шептали мои губы, и первые мои мысли были о пианисте. В воображении я видел его — он стоял там, на сцене, и кланялся публике, впившись в меня горящим взглядом.

Некоторое время я лежал в постели и в полудреме созерцал это сладкое видение — столь туманное и расплывчатое, — пытаюсь вспомнить его лицо, черты которого перемешались с чертами нескольких знакомых мне статуй Антиноя.

Анализируя свои ощущения, я осознал, что мною овладело новое чувство — смутная тревога и волнение. Внутри меня было пусто, однако же я никак не мог понять, была ли это опустошенность сердца или ума. Я ничего не утратил и все же чувствовал себя одиноким, покинутым, и более того, чуть ли не осиротевшим. Я попытался разобраться в своем нездоровом состоянии, но мне удалось понять только одно — мои ощущения напоминали тоску по дому или по

матери, с той простой разницей, что изгнанник знает, о чем тоскует, а я не знал. Это было нечто столь же неопределенное, как Sehnsucht^[15] о котором немцы так много говорят и которое так мало чувствуют.

Образ Телени преследовал меня, имя «Рене» не сходило с моих губ. Я повторял его снова и снова десятки раз. Как сладко оно звучало! При этих звуках сердце учащенно забилося, кровь, казалось, стала горячее и гуще. Я медленно встал, но с одеванием не торопился. Я пристально посмотрелся в зеркало, но вместо своего отражения увидел Телени; за его спиной возникли наши слившиеся тени — такие, какими я заметил их на тротуаре накануне вечером.

В дверь постучал слуга; это снова заставило меня смутиться. Я увидел свое отражение в зеркале, и оно показалось мне отвратительным; впервые в жизни я котел быть привлекательным даже обворожительно красивым.

Постучавший в дверь слуга сообщил мне, что моя мать ждет в столовой и послала узнать, хорошо ли я себя чувствую. Имя матери напомнило мне о моем видении, и впервые в жизни мне захотелось не встречаться с ней.

— Но вы были с матерью в хороших отношениях, не так ли?

— Конечно. Несмотря на все ее недостатки, никто не любил меня так, как она, и, хотя у нее была репутация особы легкомысленной и любящей развлечения, она никогда обо мне не забывала.

— Когда я познакомился с ней, она произвела на меня впечатление по настоящему талантливой особы.

— Вы правы; при других обстоятельствах она могла бы стать женщиной исключительной. Очень аккуратная и практичная во всём, что касалось ведения дома, мать всегда находила довольно времени для всех дел. Если только ее жизнь не была подчинена тому, что мы обобщённо называем «моральными принципами», а точнее, христианским лицемерием; в этом был повинен мой отец, а не она. Возможно, когда-нибудь я расскажу вам об этом.

Когда я вошел в столовую, мать была поражена тем, как переменилось мое лицо, и спросила, не заболел ли я.

«Должно быть, у меня лихорадка, — ответил я. — Кроме того, жара столь утомительна».

«Утомительна?» — улыбнулась она.

«Разве нет?»

«Нет; наоборот, она очень бодрит. Посмотри, как поднялся барометр».

«Что ж, значит, мое нервное расстройство произошло из-за твоего концерта».

«Моего концерта?!» — улыбнулась мать и подала мне чашку кофе. Нечего было и пытаться его пробовать, мне сделалось дурно от одного его вида. Мать посмотрела на меня с тревогой.

«Ничего страшного, просто в последнее время кофе мне надоел».

«Надоел кофе? Ты никогда об этом не говорил».

«Разве?» — произнес я рассеянно.

«Выпьешь шоколаду или чаю?»

«А нельзя ли попоститься?»

«Можно, если ты болен или же совершил великий грех, который нужно искупить».

Я взглянул на неё и содрогнулся. Неужели она знает мои мысли лучше меня самого?

«Грех?» — сказал я с изумленным видом.

«Ну, даже праведники...»

«И что тогда? — перебил я; и, чтобы загладить надменность своего тона, мягко добавил: — Я не голоден, но дабы угодить тебе, я выпью бокал шампанского и съем печенье».

«Ты сказал — шампанского?»

«Да».

«В столь ранний час и на пустой желудок?»

«Хорошо, тогда я не буду есть вовсе, — ответил я раздраженно. Вижу, ты боишься, что я стану пьяницей».

Мать ничего не сказала и лишь несколько минут с сожалением смотрела на меня; ее лицо выражало глубокую печаль. Затем, не произнеся ни слова, она позвонила в колокольчик и велела, чтобы принесли вина.

— Но что же так огорчило ее?

— Позже я понял, что она испугалась, что я становлюсь таким же, как мой отец

— А что с ним случилось?

— Я расскажу вам о нем в другой раз.

Жадно выпив пару бокалов шампанского, я почувствовал, что бодрящее вино оживило меня, и тогда мы заговорили о концерте; хотя

я жаждал расспросить мать, знает ли она что-нибудь о Телени, я не осмеливался произнести имя, которое все время вертелось у меня на языке — мне даже приходилось сдерживать себя, чтобы не повторять его постоянно. Наконец мать заговорила о нем сама; сначала она похвалила его игру, а затем его красоту.

«Как — ты находишь его красивым?» — спросил я резко.

«Разумеется, — ответила она, удивленно изогнув брови, — разве можно считать иначе? Все женщины видят в нем Адониса. Впрочем, ваш мужской взгляд на красоту своего пола настолько отличается от нашего, что иногда вы считаете ничем не примечательными тех, кем мы совершенно очарованы. В любом случае, этот юноша непременно будет иметь успех как артист, да и дамы будут в него влюбляться».

Услышав эти последние слова, я постарался принять равнодушный вид, но, как бы я ни пытался, сохранить спокойное выражение лица мне не удалось.

Увидев, что я нахмурился, мать добавила с улыбкой: «Что, Камиль, ты намерен стать таким же тщеславным, как какая-нибудь признанная красавица, которая слышать не может, как кем-то восхищаются, без чувства, что похвала другой женщине отнята у неё?»

«Женщины могут влюбляться в него сколько угодно, если хотят, — ответил я резко. — Ты прекрасно знаешь, что я никогда не гордился ни своей красотой, ни победами».

«Это правда, однако сегодня ты ведешь себя как собака на сене: какое тебе дело до того, влюбляются в него женщины или нет, тем более что это весьма способствует его карьере?»

«Но разве артист не может стать знаменитым благодаря одному лишь таланту?»

«Иногда может, — ответила мать со скептической улыбкой, — хотя и редко, и только если он обладает сверхчеловеческим упорством, чего одаренным людям часто недостает; а Телени...»

Мать не закончила фразу, но по выражению ее лица и особенно по уголкам губ ясно угадывалась ее мысль.

«И ты думаешь, что этот молодой человек настолько испорчен, что позволит, чтобы женщина содержала его, как...»

«Ну, это не совсем “содержание”, по крайней мере, он бы не смотрел на это в таком свете. Более того, он мог бы позволить

помогать себе тысячей других способов помимо денег, а фортепиано было бы его *gagne-pain*^[16]».

«Так же как сцена для большинства балерин; не хотел бы я быть артистом».

«О! Они не единственный тип мужчин, обязанных своим успехом любовнице или жене. Почитай “BelAmi”^[17] и увидишь, что многие преуспевающие мужчины, и даже не одна знаменитая персона, обязаны своим величием...»

«Женщине?»

«Именно; всегда так: *cherchez la femme*^[18]».

«Тогда этот мир отвратителен».

«Мы вынуждены жить в нем и должны брать из него самое лучшее, а не воспринимать все так трагично, как ты».

«Как бы то ни было, играет он хорошо. По правде сказать, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь играл так, как он вчера вечером».

«Да, признаю, вчера он действительно играл блестяще или даже сенсационно; но надо также признать, что ты был нездоров и излишне впечатлителен, так что музыка, должно быть, оказала на твои нервы необычное действие».

«О! Ты думаешь, мне не давал покоя вселившийся в меня злой дух, и только этот искусный музыкант, как говорится в Библии, смог успокоить мои нервы».

Мать улыбнулась: «Ну, в наши дни все мы более или менее похожи на Саула, то есть всем нам время от времени не дает покоя злой дух». Лицо ее стало хмурым, и она замолчала — очевидно, на нее нахлынули воспоминания о моем отце; затем она задумчиво добавила: «И Саула действительно нужно было пожалеть».

Я не ответил ей. Я думал о том, почему Давид обрел благосклонность Саула. Потому ли, что «он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом»? Потому ли еще, что, как только Ионафан увидел его, «душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу»?

Прилепилась ли душа Телени к моей? Суждено ли мне было любить и ненавидеть его, как Саул любил и ненавидел Давида? Как бы то ни было, я презирал себя и свое безумие. Я затаил злобу на

музыканта, околдовавшего меня; но главное, я ненавидел всех женщин — это проклятье мира.

Неожиданно мать вырвала меня из мрачных мыслей. «Не ходи сегодня в контору, если тебе нездоровится», — сказала она, помолчав немного.

— Что?! У вас тогда было свое дело? Неужели?

— Да, отец оставил мне весьма прибыльное дело и отличного, очень надежного управляющего, который многие годы был душой нашего дома. Тогда мне было двадцать три, и мой пай в компании давал львиную долю доходов. Однако же должен сказать, что я не только никогда не ленился, но, наоборот, был довольно серьезен для молодого человека моих лет и, главное, моего положения. У меня было лишь одно увлечение весьма невинного свойства. Я любил старинную майолику, старинные веера и кружево... сейчас у меня прекрасная коллекция.

— Прекраснейшая из тех, что я когда-либо видел.

— Так вот, я, как обычно, отправился в контору, но, как ни старался, никак не мог сосредоточиться на работе. Образ Телени сливался со всем, чем бы я ни занимался, и все путал. Кроме того, у меня из головы не шли слова матери. Все женщины были в него влюблены, и он нуждался в их любви. Я попытался изгнать музыканта из своих мыслей. «Где хотение, там и умение, — сказал я себе, — так что скоро я избавлюсь от этого глупого, сентиментального наваждения».

— Но вам же это не удалось?

— Нет! Чем сильнее я старался не думать о нем, тем больше думал. Вам когда-нибудь случалось слышать обрывки полузабытой мелодии, постоянно звучащие у вас в голове? Идите куда угодно, слушайте, что хотите, но эта мелодия будет неотступно терзать вас. Вы уже не можете ни вспомнить ее целиком, ни избавиться от нее. Если вы идете в постель, она не дает вам заснуть; вы спите и слышите ее во сне; вы просыпаетесь, и первое, что слышите, — эта же мелодия. То же самое было и с Телени; он преследовал меня, его голос — столь сладкий и глубокий — постоянно повторял с неизвестным мне акцентом: «О Друг, душа тоскует по тебе».

Теперь его прекрасный образ всегда стоял перед моими глазами, прикосновение его нежной руки запечатлелось на моей, я даже

чувствовал его ароматное дыхание на своих губах; время от времени я в страстном томлении протягивал руки, чтобы схватит его и прижать к груди, и галлюцинация была такой реальной, что вскоре мне уже казалось, что я чувствую его тело. Тогда возникала сильная эрекция, каждый нерв напрягался, и это едва не сводило меня с ума. Но хотя я и страдал, боль была сладостной.

— Простите, что прерываю вас, но неужели вы никогда не влюблялись до того, как встретили Телени?

— Никогда.

— Странно.

— Отчего же?

— В двадцать три года?

— Видите ли, я был предрасположен любить мужчин, а не женщин и, не осознавая этого, всегда боролся с наклонностями своей натуры. Действительно, иногда мне казалось, что я уже бывал влюблен, но, только встретив Телени, я понял, что такое настоящая любовь. Как все юноши, я полагал, что должен быть влюблён, и из всех сил старался убедить себя, что потерял голову. Увидев однажды молоденькую девушку с веселым взглядом, я решил, что именно такой и должна быть настоящая Дульсинея^[19]. Всякий раз, когда мы встречались, я не отходил от нее ни на шаг, а иногда даже пытался думать о ней в свободные минуты, когда нечем было себя занять.

— И чем же все закончилось?

— Закончилось все очень глупо. Это случилось примерно за год или за два до окончания Лусее^[20]. Да, кажется, это было во время летних каникул; тогда я впервые путешествовал один.

Я был довольно застенчив и немного волновался и нервничал от того, что пришлось, торопясь и толкаясь, пробиваться сквозь толпу, чтобы купить билет, и стараться быть внимательным, дабы не перепутать поезд.

В итоге, сам того еще не осознав, я уселся напротив девушки, в которую, как я думал, был влюблен. И более того, вагон, в котором я оказался, был предназначен для прекрасного пола.

К несчастью, в этом же вагоне находилось существо, к которому сие название было никак не применимо, — хотя я не могу поклясться относительно ее пола, но даю слово, что прекрасной она не была. В сущности, насколько я помню, она представляла собой образец

кочующей английской старой девы, облаченной в дожденепроницаемый плащ вроде ольстера^[21]. Образчики таких чужеродных существ постоянно попадаются и на континенте и, думаю, повсеместно кроме Англии, ибо я пришел к заключению, что Великобритания производит их исключительно на экспорт. В общем, не успел я занять свое место, как...

«Монсер, — злобно сказала она на ломаном французском вперемешку с английским, — сет компартеман э предназначен для дам суль».

Думаю, она имела в виду seules^[22], но в тот момент я был настолько сконфужен, что воспринял ее слова буквально.

«Dames soules! — Пьяных дам!» — проговорил я в ужасе, озираясь на всех остальных пассажиров.

Мои соседки начали хихикать.

«Мадам говорит, что этот вагон предназначен для дам, — сказала мать моей девушки, — разумеется, молодой человек не должен... не должен здесь курить, но...»

«О! если это единственное возражение, то я, разумеется, не позволю себе закурить».

«Нет, нет! — сказала старая дева — очевидно, она была шокирована. — Вуз екзи, уходите, у муа крие! Гард! — завопила она в окно. — Фэт уйти сет монсер!»^[23].

Кондуктор появился в дверях и не просто вывел, а с позором вышвырнул меня из вагона, как будто бы я был вторым полковником Бейкером.

Мне было так стыдно, я чувствовал себя таким униженным, что с моим желудком — а он всегда был весьма чувствительным — из-за пережитого шока случилось расстройство. Как только поезд тронулся, мне сначала стало не по себе, затем я почувствовал боль и урчание и, наконец, — ужасную нужду, настолько сильную, что мне с трудом удалось сесть на свое место и напрячься изо всех сил; я не смел шелохнуться, опасаясь последствий.

Некоторое время спустя поезд остановился, но ни один кондуктор не пришел, чтобы открыть дверь; я смог встать, но не увидел ни кондуктора, ни места, где мог бы облегчиться. Я судорожно размышлял над тем, что же мне делать, но тут поезд тронулся.

Единственным моим соседом оказался пожилой джентльмен который, велел мне устраиваться поудобнее, или, вернее, чувствовать себя свободнее, заснул и самозабвенно захрапел; так что я был все равно что один.

Я разработал несколько планов опорожнения кишечника, который с каждой минутой становился все менее управляемым, но только один или два из этих планов были выполнимы. Однако ж я не мог привести их в действие, поскольку моя возлюбленная, находившаяся всего через несколько вагонов от меня, постоянно выглядывала в окно, и было бы совсем нехорошо, если бы вместо моего лица она вдруг увидела мою полную луну. По той же причине я не мог использовать шляпу в качестве того, что итальянец называют *comodina*^[24], поскольку ветер дул в сторону девушки.

Поезд снова остановился, но лишь на три минуты. Что можно сделать за три минуты, особенно если испытываешь такую ужасную боль? Еще остановка — две минуты. Сжимаясь изо всех сил, я теперь мог подождать подольше. Поезд тронулся, а затем вновь остановился. Шесть минут. Сейчас или никогда. Я выскочил из вагона.

Это была загородная станция, очевидно, узловой пункт, и все выходили из вагонов.

«Les voyageurs pour..., en voiture!»^[25] — заорал кондуктор.

«Где туалет?» — спросил я его.

Он хотел впихнуть меня в поезд. Я вырвался и задал тот же вопрос другому служащему.

«Там, — ответил он, указывая на ватерклозет, — но поторопитесь».

Я кинулся к ватерклозету и влетел внутрь, не разбирая дороги. Я рванул дверь и распахнул ее настежь.

Сначала я услышал стон облегчения, за ним последовал всплеск и водопад, затем хриплый звук, и я увидел английскую девицу, сидящую на корточках на сиденье клозета.

Паровоз загудел, звонок зазвенел, кондуктор засвистел в свисток, поезд тронулся.

Я со всех ног бросился назад, забыв о последствиях и придерживая спущенные штаны, а за мной следовала разъяренная визжащая старая дева; я бежал от нее, словно цыплёнок от старой курицы.

— И что?

— Все смотрели из вагонных окон и смеялись над моими злключениями

Через несколько дней я с родителями остановился на водах в пансионе Бельвю. Спустившись к обеду, я с удивлением обнаружил мою юную даму с ее матерью; они сидели почти напротив того места, которое обычно занимали мои родители. Увидев ее, я конечно же ужасно покраснел. Я сел, а она и пожилая дама обменялись взглядами и улыбнулись. Я нервно ерзал на стуле и в конце концов выронил из рук ложку.

«Что с тобой, Камиль?» — спросила мать, заметив, что я то краснею, то бледнею.

«О, ничего! Я только... только... то есть у меня расстроился желудок — прошептал я, не найдя в тот момент более подходящего предложения.

«Опять желудок?» — спросила мать вполголоса.

«Что, Камиль, болит живот?» — сказал отец в своей обычной бесцеремонной манере и, как всегда, громогласно.

Мое было так стыдно, я так расстроился, что мой пустой желудок начал издавать ужасающие урчащие звуки. Думаю, все, кто сидел за столом, хихикали, когда я вдруг услышал знакомый злобный визгливый голос: «Гаасон, демандэ тот монсер не парле кошонери за столом»^[26].

Я взглянул в ту сторону, откуда раздался голос, и точно — там сидела англичанка — старая дева.

Увидев, что все уставились на меня, я готов был провалиться сквозь землю от стыда. Но я был вынужден это терпеть. Наконец долгий обед завершился. Я поднялся в свою комнату и больше в тот день своих знакомых не видел.

Назавтра я встретил на улице ту барышню с матерью. Когда она увидела меня, ее веселые глаза заблестели веселее, чем когда-либо. Я не смел даже взглянуть на нее, а тем более ходить за ней по пятам, как обыкновенно делал.

В pension^[27] было еще несколько девушек, и вскоре она подружилась с ними, поскольку всегда и везде становилась всеобщей любимицей. Я же, наоборот, держался в стороне от всех, будучи

уверен, что казус, случившийся со мной, не только всем известен, но стал популярной темой разговоров.

Однажды несколькими днями позже я после обеда сидел в огромном саду pension и, спрятавшись за кустами падуба, предавался размышлениям о своих несчастьях; внезапно я увидел Риту — ее звали Маргаритой; она шла по соседней аллее вместе с несколькими другими девушками.

Едва я заметил ее, как она велела подругам идти вперед, а сама отстала от них.

Она остановилась, повернулась спиной к своим компаньонкам, подняла платье намного выше колен и продемонстрировала прелестную, хотя и худенькую ножку, обтянутую тугим черным шелковым чулком. Подвязка, прикреплявшая чулок к ее «невыразимым», развязалась, и девушка принялась ее завязывать.

Наклонившись пониже, я спокойно мог бы заглянуть ей между ног и рассмотреть то, что позволяла увидеть прорезь на панталонах, но мне и в голову не пришло это сделать. В действительности, эта девица всегда была мне безразлична, как и другие женщины. Я лишь подумал, что настал мой час встретиться с ней наедине и поклониться ей, не будучи осмеянным другими девушками. Я потихоньку выбрался из своего убежища и направился к соседней аллее.

Я повернул за угол — и что же я увидел! Предмет моего сентиментального восхищения сидел на корточках с широко раздвинутыми ногами, аккуратно подобрав все юбки.

— И вы наконец увидели...

— Мельком — розоватую плоть и еще струю желтой жидкости, направленную вниз и разливающуюся по гравию, пузырясь и пенясь, сопровождаемую стремительным журчанием многочисленных потоков, в то время как сзади, словно для того, чтобы приветствовать мое появление, раздался грохот, похожий на канонаду.

— И что же вы сделали?

— Разве вы не знаете, что мы всегда делаем то, чего делать не следует, и не делаем того, что нужно, — кажется, так говорится в Псалтыре? Так вот, вместо того чтобы ускользнуть незамеченным и спрятаться за кустом, откуда и рассмотреть устье ручейка, я, глупец, замер на месте, онемевший и ошарашенный. Дар речи ко мне вернулся только тогда, когда она подняла глаза.

«O, mademoiselle! Pardon!»^[28] — сказал я. — Но я действительно не знал, что вы здесь... то есть что...

«Sot... stupide... imbecile... bete... animal!»^[29] — выпалила она с французской непринужденностью, поднимаясь и краснея, как пион. Затем она повернулась ко мне спиной и тут увидела кочующую старую деву, которая появилась на другом конце аллеи и поприветствовала девушку долгим «О!», похожим на звук трубы в тумане.

— И что?

— И моя единственная в жизни влюбленность в женщину прошла.

— Значит, вы никогда не любили, пока не познакомились с Телени?

— Никогда; по этой-то причине я некоторое время не совсем понимал, что чувствую. Однако позже, обдумав все, я пришел к заключению, что ощущал первые слабые любовные позывы еще задолго до встречи с ним. Но поскольку они всегда были направлены на мой собственный пол, я не осознавал, что это любовь.

— Какой-нибудь юноша ваших лет?

— Нет, меня привлекали взрослые мужчины — сильные, мускулистые образцы мужественности. Меня с детства тянуло к мужчинам боксёрского типа с огромными руками и ногами, с рельефными мышцами, с мощным телом — в общем, к грубой силе.

Моей первой любовью стал молодой Геркулес^[30], мясник; он обхаживал нашу служанку — насколько я помню, она была хорошенькой. Это был здоровый мускулистый малый с жилистыми руками; выглядел он так, будто мог свалить быка одним ударом кулака.

Я часто сидел и тайком наблюдал за ним, подмечая мельчайшие изменения на его лице, в то время как он ухаживал за девушкой, и чувствовал почти такое же желание, какое ощущал он.

Как я хотел, чтобы он поговорил со мной, вместо того чтобы шутить с глупой служанкой! Я ревновал к ней, хотя она очень мне нравилась. Иногда он брал меня на руки и нежно гладил, но то бывало очень редко. Но однажды, когда он — видимо, в сильном возбуждении — изо всех сил пытался ее поцеловать, но так и не смог, он схватил меня и прижался губами к моим губам так жадно, как будто его мучила жажда.

Хотя я был всего лишь ребёнком, но, думаю, это действие вызвало эрекцию, потому что помню, как мой пульс сильно участился. Я до сих

пор не забыл, какое испытывал наслаждение, когда, как кот, терся о его ноги, мостился меж его бедер, обнюхивал его, как собака, поглаживал и похлопывал его; но увы! он редко обращал на меня внимание.

Величайшей радостью в детстве для меня было смотреть, как мужчины купаются. Я едва сдерживался, чтобы не подбежать к ним; мне хотелось бы трогать их руками и целовать все их тело. Я терял самообладание, когда видел кого-нибудь из них нагим.

Фаллос действовал на меня так же, как, полагаю, он действует на страстную женщину; при виде его у меня текли слюнки, особенно если он был большим, полнокровным, с открытой толстой, мясистой головкой.

Тем не менее я не осознавал, что люблю мужчин, а не женщин. Что я ощущал, так это ту воспаленность мозга, которая зажигает в глазах огонь безумия, огонь страстного звериного восторга и неистового плотского желания. Я думал, что любовь это спокойный, непринужденный флирт в гостиной, что-то нежное, сентиментальное и эстетическое, совершенно не похожее на полную ярости и ненависти страсть, которая сжигала меня. Словом, скорее что-то успокаивающее, нежели возбуждающее.

— Значит, у вас никогда не было женщины?

— Были! Несколько; хотя скорее — по воле случая, чем по моей воле. Но все же для француза моих лет я начал жить довольно поздно. Моя мать — хотя и считалась весьма легкомысленной особой, любящей наслаждения, — заботилась о моем воспитании лучше, чем заботились бы многие серьезные, скучные, суетливые женщины; она всегда была очень тактична и внимательна. Поэтому меня никогда не отдавали ни в какой пансион; мать знала, что такие воспитательные заведения, как правило, являются рассадниками порока. Какой же студент — любого пола — не начинал свою жизнь с трибации, онанизма или содомии?

Кроме того, мать опасалась, как бы я не унаследовал сластолюбивую натуру своего отца, и поэтому делала все возможное, чтобы уберечь меня от любых ранних соблазнов; и ей действительно удалось оградить меня от бед.

Так что в свои пятнадцать и шестнадцать я был намного невиннее любого из моих школьных приятелей; однако мне удавалось скрывать свое полное невежество, притворяясь распутным и blasû^[31]

Когда речь заходила о женщинах — а такое бывало каждый день, — я многозначительно улыбался, так что вскоре мои приятели пришли к выводу, что «в тихом омуте черти водятся».

— И вы совершенно ничего не знали?

— Знал только, что вроде бы нужно вставлять и вынимать. Как-то раз — мне тогда было пятнадцать — я, скучая, бродил по саду и вышел на небольшой луг у дороги за домом.

Я шел по густой траве, мягкой, словно бархатный ковер, так что мои шаги не были слышны. Вдруг я остановился у старой, заброшенной собачьей конуры, часто служившей мне сиденьем.

Подойдя поближе, я уловил голос, доносившийся изнутри. Я наклонился и прислушался, затаив дыхание. Голос девочки сказал: «Вставь его, а потом вынь; потом вставь его снова и вынь; и так некоторое время».

«Но я не могу его вставить», — последовал ответ.

«Давай, сказал первый голос, — я широко раскрою свою щелку обеими руками. Засовывай его; проталкивай внутрь... дальше... еще дальше... насколько можешь».

«Ладно, только убери пальцы».

«Ну вот, он опять выскочил; давай, засунь его внутрь».

«Да не могу я. У тебя шелка закрыта», — пробормотал мальчишеский голос.

«Надави».

«А почему я должен его туда засовывать?»

«Ну, понимаешь, у моей сестры есть хороший друг, он — солдат; они всегда так делают, когда остаются одни. Ты что, не видел, как петухи прыгают на кур и клюют их? Так вот, то же самое, только моя сестра и солдат все целуются и целуются, так что у них на это уходит много времени».

«И он всегда его вставляет и вынимает?»

«Конечно; только в конце моя сестра всегда велит ему быть осторожным и не кончать в нее, чтобы не сделать ей ребенка. Так что, если хочешь быть моим хорошим другом, — а ты говоришь, что хочешь, — засовывай его, засовывай пальцами, если по-другому не можешь; но смотри, не кончай в меня, а то сделаешь мне ребёнка».

Я заглянул внутрь и увидел младшую дочь нашего садовника, девочку лет десяти-двенадцати; она лежала на спине, а по ней ползал

маленький бездельник лет семи, изо всех сил стараясь применить её указания на практике.

Это был мой первый урок, и таким образом я получил смутное представление о том, что делают мужчины и женщины, будучи любовниками.

— И вам не хотелось узнать об этом побольше?

— Хотелось! Множество раз я мог бы поддаться соблазну и вместе с друзьями отправиться к каким-нибудь девкам, прелести которых они всегда восхваляли особенно низкими, гнусавыми, похотливыми голосами, странно дрожа при этом всем телом; но меня останавливал страх перед тем, что приятели, да и сами девушки, посмеются надо мною, ибо я оказался бы так же неопытен и несведущ в том, что нужно делать с женщиной, как сам Дафнис^[32] — до того, как Ликенион проскользнула под него и тем самым посвятила его в таинства любви; однако же это посвящение едва ли сложнее, чем для новорожденного ребенка взять грудь.

— И когда же состоялся ваш первый визит в бордель?

— По окончании коллежа, когда таинственные лавры обвили наши лбы. Согласно традиции, мы должны были принять участие в прощальном обеде и шумном веселье, прежде чем разойдутся наши жизненные пути.

— Да, я помню эти веселые ужины Латинского квартала^[33].

— Когда ужин закончился...

— И все были более или менее в подпитии...

— Именно так; было решено провести вечер в каком-нибудь доме ночных развлечений. Хотя я был довольно бойким и обычно готовым к любого рода шуткам, но все же чувствовал некоторое стеснение и с радостью ускользнул бы от моих друзей, вместо того чтобы подвергать себя их насмешкам и всем ужасам сифилиса; но как я ни старался, избавиться от них было невозможно.

Они называли меня подлецом. Они вообразили, что я хочу провести вечер с любовницей, хорошенькой *grisette*^[34] или модной *cocotte*^[35] — слово *horizontale*^[36] тогда еще не вошло в моду. Другие намекали, что я привязан к мамочкиному подолу и папа не разрешает мне брать ключ от входной двери. Третьи говорили, что я хочу пойти и, как грубо выразился Аретино^[37], *menarmi la rilla*^[38].

Понимая, что сбежать не удастся, я любезно согласился их сопровождать.

Некто Бью — юный по годам, но опытный, бывалый и, как старый кот, уже в шестнадцать лет потерявший глаз в любовной битве^[39], — предложил показать нам жизнь тайных мест подлинного Латинского квартала.

«Сначала, — сказал он, — я отведу вас в одно место, где мы немного повеселимся; это нас взбодрит, и оттуда мы отправимся в другой дом, чтобы разрядить наши пистолеты или, вернее сказать, наши револьверы, потому что моя пушка — семизарядная».

При этих словах его единственный глаз блеснул от удовольствия, а брюки зашевелились изнутри. Мы все согласились с его предложением, особенно я, ибо был очень рад, что сначала смогу оставаться лишь наблюдателем. Но все же я задавался вопросом, что это за место.

Мы бесконечно долго ехали по узким, беспорядочно разбросанным улочкам, переулкам и проулкам, где в грязных окнах жалких домов виднелись накумариженные женщины в ярких платьях.

Было поздно, закрылись все магазины, кроме лавок фруктово-овощных, продающих жареную рыбу, мидии и картофель. Лавки изрыгали отвратительный запах грязи, жира и кипящего масла, который смешивался со зловонием выгребных ям и сточных канав, расположенных посреди улиц.

В темноте плохо освещенных, бойких улиц несколько *saû chantant*^[40] и пивных сигналили красными фонарями, и, проезжая мимо, мы чувствовали струи теплого спертого воздуха, отдающего алкоголем, табаком и кислым пивом.

Все эти улицы были забиты разношерстной толпой: подвыпившие мужчины с хмурыми уродливыми лицами, неряшливые ведьмы и бледные, преждевременно повзрослевшие дети — все оборванные, в лохмотьях, — которые распевали непристойные песни.

Наконец мы приехали в какой-то глухой, грязный переулок, где коляски останавливались перед низким накумариженным домом, который, казалось, в детстве перенес водянку головного мозга. У дома была наружность сумасшедшего; к тому же стены, выкрашенные в желтовато-красный цвет и во многих местах облупившиеся, придавали ему вид больного, страдающего какой-то гадкой, омерзительной

кожной болезнью. Этот отвратительный притон, казалось, предостерегал посетителя от болезни, процветающей в его стенах и разлагающей дом изнутри.

Мы вошли внутрь через маленькую дверь и поднялись по грязной, скользкой винтовой лестнице, освещенной дрожащим светом астматической лампы. Хотя мне было противно класть руку на перила, но подняться по этой мерзкой лестнице, не прибегнув к их помощи, было практически невозможно.

На первой лестничной площадке нас приветствовала седая уродливая старуха с обрюзгшим, но бледным лицом. Не знаю, что вызвало во мне такое отвращение, — может быть, ее воспалённые, лишённые ресниц глаза, может быть, злобное выражение лица, а возможно, её повадки, — но за всю свою жизнь я никогда не видел существа, столь похожего на упыря. Ее беззубый рот с отвисшими губами напоминал присосок полипа; он был грязен и покрыт слизью.

Она встретила нас множеством вульгарных любезностей и льстивых ласковых слов и проводила в безвкусно и крикливо убранную комнату, где слезящая керосиновая лампа проливала резкий свет на все окружающее.

Обстановку этой комнаты, смердящей мускусом и луком, составляли грязные занавески на окнах, несколько старых кресел и длинная, потрепанная, вся в пятнах тахта; но поскольку в те времена я обладал достаточно богатым воображением, то время от времени ощущал — или мне казалось, что ощущал, — запах карболовой кислоты и йода, хотя гадкая вонь мускуса заглушала все прочие зловония.

В этом притоне, согнувшись, лежали или, развалясь, сидели несколько — как их называют? — сирен? нет, гарпий!

Хотя я старался принять равнодушный и пресыщенный вид, моё лицо, должно быть, выражало весь испытываемый мною ужас. «И это один из тех восхитительных домов наслаждения, которых я слышал столько восторженных рассказов?» — спрашивал я себя.

Эти размалеванные Иезавели^[41], мертвенно-бледные или обрюзгшие, и есть пафосские девы — прекрасные жрицы Венеры, чьи чары заставляют вас трепетать от восторга, гурии, на чьи грудях вы лишаетесь чувств и уносите в рай?

Друзья, увидев моё полное замешательство, стали надо мной смеяться. Я сел и попытался улыбнуться; выглядело это глупо.

Трое из этих существ сразу же подошли ко мне; одно обхватило меня за шею, поцеловало и хотело вонзить мне в рот свой мерзкий язык; другие принялись совершенно непристойно меня ощупывать. Чем сильнее я сопротивлялся, тем тверже было их намерение сделать из меня Лаокоона^[42].

— Но почему своей они жертвой выбрали вас?

— Я не знаю; должно быть, потому, что я выглядел таким откровенно напуганным, а может быть, потому, что все мои друзья смеялись над моим искаженным ужасом лицом.

Одна из этих бедных женщин — высокая смуглая девушка, наверное, итальянка, — была явно больна чахоткой в самой последней стадии. Она была худа, как скелет, и все же, если бы не маска из белил и румян, покрывавшая ее лицо, следы былой красоты еще были бы различимы; глядя на нее теперь, человек, не привыкший к такого рода зрелищу, не мог не испытывать чувства глубочайшей жалости.

Вторая была рыжеволоса, костлява, ряба, пучеглаза и омерзительна.

Третья — старая, низкого роста, коренастая и ожиревшая просто пузырь с жиром. Она носила прозвище Cantiniure — Трактирщица.

На первой проститутке было платье цвета зеленой травы; на рыжей — платье, которое когда-то, вероятно, было синим; старая шлюха была в желтом.

Все эти платья, однако же, были изрядно испачканы и поношены. Кроме того, из-за огромных пятен, оставленных повсюду какой-то скользкой, липкой жидкостью, выглядели они так, словно по ним поползали все бургундские улитки^[43].

Мне удалось отделаться от двух шлюх, что помоложе, но избавиться от Трактирщицы я никак не мог.

Увидев, что ее чары и все ее ласки не произвели на меня никакого впечатления, она попыталась пробудить мои вялые чувства более отчаянными средствами.

Как я уже сказал, я сидел на низкой тахте; она встала передо мной и до пояса задрала платье, выставив все свои скрытые до этого момента прелести. Впервые я увидел голую женщину, и она была просто отвратительна. Однако же теперь мне кажется, что ее красоту

вполне можно было бы сравнить с красотой Суламифи^[44], ибо шея ее была похожа на башню Давида, пупок напоминал круглый кубок, а живот — огромную кучу гниющей пшеницы. Волосы, начинающиеся у талии и ниспадающие до колен, были не совсем похожи на стадо коз — как волосы невесты Соломона, — но количеством, несомненно, не уступали большой черной овчине.

Её ноги — схожие с теми, что описаны в библейской песни, — представляли из себя две прямые массивные колонны, не имеющие ни малейших признаков икр или лодыжек. Все ее тело было единой огромной массой трясущегося жира. Если ее запах и не был в точности таким, как ароматы Ливана, то уж мускусом, пачули, несвежей рыбой и потом от неё несло; когда мой нос вошел в более тесный контакт с руном, возобладал запах тухлой рыбы.

С минуту женщина стояла передо мной, а затем приблизилась на шаг или два, поставила одну ступню на тахту и, раздвинув ноги, взяла мою голову в толстые, холодные, липкие руки: «Viens, mon cheri, fais minette a ton petit chat»^[45]

Когда она произнесла это, я увидел, как раздвигается черная масса волос; две огромные темные губы сначала показались, затем раскрылись, и между этих раздутых губ, внутренняя поверхность которых имела цвет и вид лежалого мяса, я заметил что-то похожее на кончик собачьего пениса, находящегося в состоянии эрекции; это «что-то» вылезло наружу и теперь приближалось к моим губам.

Все мои школьные приятели расхохотались — почему, я не вполне понял, поскольку не имел ни малейшего представления, что такое minette и чего от меня хочет старая проститутка; не понимал я также и того, как можно столь омерзительные вещи обращать в шутку.

— Ну, и чем же закончился этот веселый вечерок?

— Принесли выпивку: пиво, крепкие наливки и несколько бутылок пенистой жидкости, именуемой «шампанское», которая явно не была продуктом солнечных виноградников Франции, и которую эти женщины поглощали в больших количествах.

Затем, не желая, чтобы мы ушли, так и не развлекшись, также дабы выудить еще несколько франков из наших карманов, женщины предложили показать нам несколько фокусов, которые они проделывали друг с другом.

Очевидно, это было редкое зрелище и именно то, за чем мы туда приехали. Мои друзья единодушно согласились. Тогда старый пузырь жира разделся догола и принялся трясти задом, убого имитируя восточный танец осы. Несчастливая чахоточная последовал ее примеру и, едва дернувшись телом, выскользнула из платья.

При виде огромной массы дряблого свиного жира, колышущегося по обе стороны крестца, худая шлюха подняла руку и с силой ударила подругу по заду, но рука ее, казалось, утонула в нём, как в куске масла.

«Ах! — воскликнула Трактирщица. — Тебе нравится эта маленькая игра, не так ли?» И в ответ она с ещё большей силой стукнула подругу по заду.

Тогда чахоточная девушка принялась бегать по комнате, а Трактирщица — ковылять за ней в весьма неприятной манере; каждая старалась шлепнуть другую.

Когда старая проститутка проходила мимо Бью, тот отвесил ей звонкий шлепок ладонью; через некоторое время большинство студентов, видимо, сильно возбужденных этой маленькой поркой, последовали его примеру, и скоро ягодичы обеих женщин побагровели.

Трактирщице наконец удалось поймать свою подругу; она уселась и, положив девушку себе на колени, сказала: «Сейчас, дружочек, ты получишь столько, сколько твоей душе угодно». И, подкрепляя слово делом, она здорово отшлепала товарку; то есть била со всей силой, какую только позволяли ее пухлые ручки.

Наконец молодая женщина смогла встать, и обе принялись целовать и ласкать друг дружку. Потом они постояли, прижавшись друг к другу бедрами и грудями, после чего раздвинули густые волосы, покрывающие нижнюю часть так называемого холма Венеры, и, раскрыв свои толстые, темные, разбухшие губы, прижались клитор к клитору, и те затрепыхались от наслаждения. Затем женщины обхватили друг друга за талию, соединили рты и, вдыхая дурной запах изо ртов друг дружки и по очереди посасывая друг другу языки, начали с силой друг о дружку тереться. Некоторое время они тряслись, извивались и корчились, едва держась на ногах от экстаза.

Наконец чахоточная девушка обеими руками сжала зад подруги и, раздвинув ее огромные мясистые ягодичы, выкрикнула: «Une feuille de rose»^[46]

Разумеется, ее слова сильно меня озадачили, и я задался вопросом, где она возьмет розовый лепесток, поскольку в доме не было заметно ни одного цветка; потом я стал раздумывать, что она станет с ним делать, если найдёт.

Но долго мучиться сомнениями мне не пришлось. Трактирщица проделала с подругой тоже, что и та проделала с ней самой. Затем две другие шлюхи подошли и опустились на колени перед раздвинутыми для них задами, засунули языки в маленькие черные отверстия анусов и принялись лизать их к удовольствию активных и пассивных проституток, а также — всех наблюдавших.

Кроме того, коленопреклонённые женщины вонзили свои указательные пальцы промеж ног стоявших проституток и начали с силой тереть у нижнего края губ.

Чахоточная девушка, которую целовали, гладили и лизали, бешено извивалась, пыхтела, всхлипывала и кричала от удовольствия, восторга и чуть ли не от боли, пока не дошла до такого состояния, что едва не упала в обморок.

За «Ane, la, la, assez, ane, c'est fait!»^[47] последовали крики, вопли, односложные слова и восклицания, выражающие острое наслаждение и нестерпимое удовольствие.

«Теперь моя очередь» сказала Трактирщица и, растянувшись на низкой тахте, широко расставила ноги так, что две толстые тёмные губы широко раскрылись и обнажили клитор, который, будучи в состоянии эрекции, приобрёл такие размеры, что я, по своему невежеству, заключил, что эта женщина — гермафродит.

Ее подруга, gougnotte^[48] — тогда я впервые услышал это слово, — которая еще не вполне пришла в себя, уткнулась головой промеж ног Трактирщицы и прижалась ртом к губам, а языком — к набухшему, красному, влажному, трясущемуся клитору, приняв такое положение, чтобы толстая шлюха могла ртом достать до ее собственной промежности.

Женщины извивались и дергались, терлись и шлепали друг дружку; их растрёпанные волосы разметались не только по тахте, но и по полу; они сжимали друг дружку, засовывали пальцы в отверстия подружкиных задниц, стискивали соски и вонзали ногти в мясистые части тел, ибо в чувственном неистовстве они были похожи на двух обезумевших менад, и лишь ярость поцелуев заглушала их крики.

Хотя их похоть, казалось, всё усиливалась, она, однако же, завладела ими полностью, и в жажде получить наслаждение толстая грубая старая шлюха обеими руками со всей силой вжимала в себя голову своей любовницы, как будто пыталась засунуть её себе в матку целиком.

Зрелище было поистине омерзительным, и я отвернулся, чтобы не видеть этого, но то, что меня окружало, выглядело ещё отвратительнее.

Проститутки расстегнули брюки у всех молодых людей, и некоторые трогали члены, ласкали яички или лизали зады; одна стояла на коленях перед юным студентом и жадно сосала его огромный мясистый фаллос; другая девушка сидела верхом на коленях молодого человека, подпрыгивала и вновь опускалась, словно находя в ходунке и, очевидно, участвуя в пафосских скачках; одной женщиной^[49] обладали двое мужчин одновременно, один помещался спереди, другой — сзади. Там были и другие гнусности, но у меня не хватило времени, чтобы все рассмотреть.

Кроме того, многие молодые люди, которые, напившись шампанского, абсента и пива, уже были навеселе, когда пришли туда, почувствовали дурноту, начали икать; их затошнило и в конце концов вырвало.

В разгар этой тошнотворной сцены с чахоточной шлюхой сделалась истерика, она кричала и всхлипывала одновременно, тогда как толстая проститутка, которая возбудилась до предела, не позволяла ей приподнять голову и, уткнув ее нос туда, где прежде был язык, тёрлась о него со всей силой и вопила: «Лижи, лижи сильнее, не убирай язык, мне уже почти хорошо; вот, я кончаю, лижи меня, соси меня, кусай меня!». Но мертвенно-бледной бедняжке, находящейся на грани исступления, удалось ускользнуть

«Regarde donc quel con^[50], - сказал Бью, указывая на эту массу трясущейся плоти между чёрными, покрытыми слизью, липкими волосами. — Я засуну туда колено и хорошенько её потру. Вот, смотри!»

Он стянул с себя брюки и уже собирался подкрепить слова делом, как вдруг раздался слабый кашель. За ним сразу же по следовал пронзительный крик, и не успели мы понять, что произошло, как тело старой толстой проститутки залилось кровью. Бледная как покойница,

чахоточная бедняжка в припадке похоти повредила кровеносный сосуд и теперь умирала... умирала.

«Ah! La sale bougre!»^[51] — проговорила похожая на упыря женщина с бледным лицом. — Этой потаскухе конец, а она должна мне...»

Я не помню, какую сумму она назвала. А тем временем Трактирщица продолжала метаться в безумном, неуправляемом экстазе, корчась и извиваясь; наконец, почувствовав, как в её чрево течёт тёплая кровь и заливают разгорячённые органы, она запыхтела, завопила и задрожала от удовольствия — это была эякуляция. Таким образом, предсмертный хрип одной слился с пыхтением и бульканьем другой.

В этой неразберихе я ускользнул и навсегда исцелился от соблазна ещё раз посетить подобный дом ночных развлечений.

— Давайте вернёмся к нашему рассказу. Когда вы встретились с Телени в следующий раз?

— Нескоро. Дело в том, что, хотя меня непреодолимо влекло и нему, тянуло с неистовой силой, противостоять которой мне иногда удавалось с трудом, все же я продолжал избегать его.

Когда он давал концерты, я всегда ходил его послушать, или, вернее, посмотреть на него; я жил только в те быстротечные минуты, когда он был на сцене. Мой бинокль впивался в него, мои глаза с восхищением смотрели на его божественную фигуру, полную юности, жизни и мужественности.

Желание прижаться губами к его прекрасному рту, к его раскрытым губам было столь нестерпимым, что всегда заставляло мой пенис увлажняться.

Иногда пространство между нами, казалось, уменьшалось и сокращалось настолько, что я чувствовал, что могу вдыхать его тёплое ароматное дыхание, и более того, мне действительно казалось, что я соприкасаюсь с его телом.

Ощущение, рождённое всего лишь мыслью о том, что его кожа касается моей, возбуждало мою нервную систему до такой степени, что сила этого бесплотного наслаждения сначала порождала приятное оцепенение во всем теле, которое вскоре превращалось в тупую боль.

Сам он, видимо, всегда чувствовал моё присутствие в театре, поскольку его глаза неизменно искали меня, до тех пор пока не

пробивались сквозь огромную толпу и не находили меня. Однако я знал, что в действительности Телени не мог увидеть меня ни в том углу, где я укрывался, ни в задних рядах партера, ни на галерее, ни в глубине ложи. И все же, куда бы я ни садился, его взгляд всегда был устремлён на меня. Ах, эти глаза! Бездонные, как тёмная вода колодца. Даже теперь, когда я вспоминаю их спустя столько лет, сердце моё трепещет и я чувствую, как при мысли о них начинает кружиться голова. Если бы вы их увидели, вы бы poznали, что на самом деле такое эта жгучая истома, о которой всегда пишут поэты.

Одной вещью я по праву гордился. С того знаменательного вечера, когда состоялся благотворительный концерт, Телени играл если и не более виртуозно с точки зрения теории, то гораздо великолепнее и чувственнее, чем когда-либо прежде.

Теперь его сердце полностью изливалось в этих сладостных венгерских мелодиях, и все, чью кровь не сковал лед зависти и старости, были очарованы этой музыкой.

Его имя, таким образом, стало привлекать огромную аудиторию, и, хотя мнения музыкальных критиков разделились, газеты печатали о нем большие статьи

— И, будучи настолько в него влюбленным, вы находили душевную силу страдать, но все же не поддаваться искушению встретиться с ним?

— Я был юн и неопытен, а потому — добродетелен; ибо что есть добродетель, как не предрассудок?

— Предрассудок?

— А природа добродетельна? Разве пес, который с очевидным удовольствием обнюхивает и облизывает первую попавшуюся суку, забивает свои неискушенные мозги мыслями о добродетели? Разве пудель, который пытается отсодомировать ту маленькую дворняжку, что перебегает улицу, заботится о том, скажет о нем собачья миссис Гранди^[52]?

Нет, в отличие от пуделей или юных арабов я был напичкан множеством разного рода ложных идей; так что, когда я понял, каковы мои настоящие чувства к Телени, я был потрясен, я был в ужасе; меня охватило смятение, и я решил подавить свои чувства.

Разумеется, зная я человеческую природу лучше, я бы покинул Францию, отправился на другой конец света, и Гималаи встали бы

между нами стеной.

— И все лишь для того, чтобы поддаться естественному влечению к кому-то другому или к нему же самому, если бы вам неожиданно выпало встретиться много лет спустя.

— Вы совершенно правы. Физиологи говорят, что мужское тело изменяется раз в семь лет; страсти мужчины всегда остаются неизменны; пусть едва тлеющие, но они всегда — в его сердце; его натура нисколько не улучшается, ибо он не давал чувствам выхода. Он лишь обманывает себя и окружающих, притворяясь тем, кем на самом деле не является. Я знаю, что рожден содомитом; виноват мой организм, а не я.

Я прочел все, что смог найти о любви одного мужчины к другому. Этому гадкому преступлению против природы нас учили не только сами боги, но и все величайшие люди древности; даже сам Минос, кажется, вступал в связь с Тесеем^[53].

Я же, конечно, смотрел на это как на нечто чудовищное, как на грех — по мнению Оригена^[54], - намного более страшный, чем идолопоклонство. И все же мне пришлось признать, что даже после разрушения Содома и Гоморры мир продолжал процветать, несмотря на это отклонение от нормы, ибо в дни Великого Рима пафосские девушки слишком уж часто заменялись хорошенькими мальчиками.

Тогда-то и настало время появиться Христианству и вымести все ужасные пороки своей новой метлой. Позднее католицизм сжигал людей, засевающих бесплодное поле, — вернее, сжигал их изображения.

У священников имелись певчие, у королей — mignons^[55], и если отпущение грехов получила целая армия священнослужителей и монахов, то надо признать, они не всегда были повинны в мужеложстве или в том, что разбрасывали свое семя на камни, хотя религия не предназначала их принадлежности для производства детей.

Что касается тамплиеров^[56], то, если их и сожгли, то случилось это вовсе не по причине их педерастии, поскольку на это долгое время закрывали глаза.

Но что меня забавляло, так это то, что каждый пишущий обвинял всех вокруг в увлечении этой мерзостью; и только его народ был свободен от сего чудовищного порока.

Евреи обвиняли неевреев, неевреи — евреев, и все паршивые овцы, имеющие эту извращенную наклонность, всегда привозили ее — как сифилис — из-за границы. Я также прочел в одной современной медицинской книге, что пенис содомита утончается и заостряется, как у собаки, а человеческий рот перекашивается, если использовать его для гнусных целей; меня трясло от ужаса и омерзения. Один вид этой книги заставлял меня бледнеть!

Правда, с тех пор жизнь преподавала мне совсем другой урок, ибо должен признаться, что знал десятки шлюх, да и много других женщин, которые пользовались ртом не только для того, чтобы молиться и целовать руку духовнику, но, однако же, я никогда не замечал, чтобы у них были кривые рты; а вы?

Что до моего хера — или вашего, — его крупная головка... но вы краснеете от такого комплимента, поэтому оставим эту тему.

В то время я терзался страхом, что совершил сей ужасный грех, пусть не в реальности, но в душе.

Религиозное учение Моисея, более точно изложенное в талмудическом законе, изобрело сутану, которую надлежало надевать при совокуплении.

Она окутывает все тело мужа, оставляя в центре лишь крохотную дырочку — какие бывают на штанишках маленьких мальчиков, — чтобы просунуть в нее пенис и, таким образом, дать ему возможность впрыснуть сперму в яичники жены, оплодотворяя её, но по возможности препятствуя плотским наслаждениям. Да-да! Но люди давным-давно скинули сутану, даже не попрощавшись, и пустили пыль в глаза, прикрыв свои фальконы «французским конвертиком»^[57].

Да, но разве мы не рождаемся в тяжёлой сутане, то есть с этой нашей Моисеевой религией, дополненной невнятными заповедями Христа и доведённой до невозможного совершенства протестантским лицемерием; ведь если мужчина совершает прелюбодеяние всякий раз, когда смотрит на женщину, то разве я не прелюбодействовал всякий раз, когда видел Телени или просто думал о нем?

Были, однако, моменты, когда природа оказывалась сильнее предрассудков, и я был готов немедленно обречь свою душу на вечные муки и, более того, отдать тело на растерзание в адском огне за возможность убежать куда-нибудь на край земли, на какой-нибудь одинокий остров, где в абсолютной наготе я мог бы прожить с Телени

несколько лет, предаваясь смертному греху и наслаждаясь волнующей красотой юноши.

И все же я решил держаться от него подальше, но стать его движущей силой, вдохновителем, сделать из него великого и знаменитого артиста. Что касается огня похоти, сжигавшего меня, что ж, если я не мог его погасить, то, по крайней мере, мог притушить.

Я страдал. Мысли мои днями и ночами были о нем. Мозг воспалился, кровь кипела, тело трепетало от волнения. Я ежедневно читал все газеты, дабы узнать, что о нем пишут; и как только глаза наталкивались на его имя, газета начинала дрожать в моих трясущихся руках. Если мать или кто-то другой упоминали его имя, я вспыхивал и затем бледнел.

Помню, какой приступ радости — не без примеси ревности — я испытал, когда впервые увидел его фотографию в витрине среди фотографий других знаменитостей. Я сразу же купил ее — не только для того, чтобы хранить ее как сокровище и души в ней не чаять, но еще и для того, чтобы на нее не смотрели другие.

— Что?! Вы так ужасно ревновали?

— Безумно. Держась поодаль, незамеченный, я ходил за ним по пятам после каждого концерта.

Обычно он был в одиночестве. Но однажды я увидел, как он садится в кеб, ожидающий у заднего входа театра. Мне показалось, что в коляске был кто-то еще — женщина, если я не ошибся. Я взял другой кеб и поехал следом. Экипаж остановилась у дома Телени. Я тут же приказал кучеру сделать то же самое.

Я увидел, как Телени вышел, подал руку даме, окутанной густой вуалью, и та выпрыгнула из экипажа и метнулась к открытой двери. Затем кеб уехал.

Я попросил своего кучера ждать всю ночь. На рассвете к дому подъехала и остановилась вчерашняя коляска. Мой возница поднял голову. Спустя несколько минут дверь вновь отворилась. Дама торопливо вышла, и её любовник помог ей сесть в коляску. Я поехал за ней и остановился там, где она вышла. Через несколько дней я узнал, кто она.

— И кто же?

— Дама безупречной репутации, вместе с которой Телени играл несколько дуэтов.

Той ночью, в кебе, мои мысли были настолько сосредоточены на Телени, что мое внутреннее «я», казалось, отделилось от тела и как тень следовало за мужчиной, которого я любил. Я, сам того не осознавая, погрузился в некий транс, и мне явилось отчётливое видение, которое, как это ни странно, совпало с тем, что в действительности делал и чувствовал мой друг.

Например, как только за ними закрылась дверь, дама сжала Телени в объятиях и поцеловала долгим поцелуем. Их поцелуй продлился бы еще несколько секунд, если бы Телени не начал задыхаться.

Вы улыбаетесь; да, полагаю, вы знаете сами, как легко задохнуться во время поцелуя, если губы не ощущают всей силы блаженной пьянящей страсти. Дама поцеловала бы его еще раз, но Телени прошептал ей: «давайте поднимемся в мою комнату; там нам будет безопаснее».

Вскоре они оказались в его жилище.

Дама робко огляделась и, увидев, что находится наедине с молодым человеком в его квартире, вспыхнула и совершенно смутилась.

«О! Рене, — проговорила она, — что же вы обо мне думаете?»

«Что вы горячо меня любите, — сказал он. — Разве нет?»

«Да, конечно; это неразумно, но я слишком сильно люблю вас».

И, сняв вуаль, она бросилась к своему возлюбленному и заключила его в объятия, покрывая поцелуями его голову, глаза, щёки и губы; те губы, поцеловать которые так жаждал я!

Прижавшись губами к его рту, она некоторое время вдыхала аромат его дыхания, а затем, сама пугаясь своей дерзости, коснулась его губ кончиком языка. Но скоро, набравшись смелости она просунула язык в рот мужчины и некоторое время вонзала и вынимала его, как будто таким образом соблазняла Телени померяться силой с природой. Этот поцелуй заставил женщину так дрожать от вожделения, что ей пришлось схватиться за Телени чтобы не упасть, ибо кровь бросилась ей в голову, и дама едва держалась на ногах. Наконец она взяла правую руку мужчины, неуверенно сжала её и положила на свою грудь, так чтобы он мог пощипать сосок. При этом она испытывала столь огромное наслаждение, что едва не теряла сознание.

«О, Телени! — проговорила она. — Я не могу! Я больше не могу!» И, прогнувшись вперед, она принялась со всей силой тереться о него.

— А что Телени?

— Как бы я не ревновал, я не мог не чувствовать, насколько его поведение в этот момент отличалось от того восторга, с каким он прильнул ко мне в тот вечер, когда вынул из своей петлицы букетик гелиотропа и вставил в мою.

Он скорее принимал ласки женщины, нежели дарил их сам. Как бы то ни было, дама была довольна, ибо считала музыканта робким.

Теперь она уже висела на нем, обхватив его одной рукой з талию, а другой за шею. Её нежные тонкие пальцы, украшенные кольцами, перебирали его выющиеся волосы и гладили шею.

Он сжимал её груди и, как я уже говорил, пощипывал соски. Она пристально посмотрела ему в глаза и вздохнула.

«Вы не любите меня, — проговорила она наконец. — Я вижу это по вашим глазам. Вы думаете не обо мне, а ком-то другом».

И это было правдой. В тот момент он думал обо мне — с любовью и желанием. Эти мысли взволновали его; он заключил женщину в объятия и стал ласкать и целовать гораздо более страстно, чем прежде; Телени даже стал сосать ее язык, словно он был моим, а затем вонзил свой язык ей в рот.

Прошло несколько восхитительных минут, и на этот раз женщина отстранилась, чтобы перевести дыхание. «Нет, я была не права. Вы любите меня. Теперь я это вижу. Вы ведь не презираете меня за то, что я пришла сюда, правда?»

«Ах, если бы вы только знали, что я чувствую и как безумно люблю вас, милая!»

Она посмотрела на него полными желания и страсти глазами.

«Но всё же вы считаете меня распущенной, ведь так? Я прелюбодейка!» Она задрожала и закрыла лицо руками.

Он некоторое время с жалостью смотрел на нее, а потом мягко опустил её руки и поцеловал.

«Вы не знаете, как я старалась забыть вас. Но не смогла. Я вся горю. Моя кровь — больше уже не кровь, а кипящее любовное зелье. Я ничего не могу с собой поделать, — сказала она и высоко подняла голову, как будто бросала вызов всему миру. — Вот я здесь, делайте со

мной что хотите, только скажите, что любите меня, что не любите ни одну женщину, кроме меня, поклянитесь!»

«Клянусь, — проговорил он еле слышно, — что не люблю никакую другую женщину».

Она не поняла смысла его слов. «Скажите же мне это снова, говорите это часто; так сладко слышать это из уст того, кого обожаешь», — воскликнула она с неистовым пылом.

«Уверяю вас, что ни одной женщиной я не был увлечён так, как привлекаете меня вы».

«Не увлечён?» — произнесла она разочарованно.

«Я имею в виду, не любил».

«И вы можете в этом поклясться?»

«Хоть на кресте, если хотите», — улыбнулся он.

«И вы не думаете обо мне дурно из-за того, что я пришла сюда? Что ж, вы единственный, из-за кого я неверна мужу; впрочем, бог знает, верен ли он мне. И все же моя любовь не искупает моего греха, не так ли?»

Телени не отвечал. Он лишь смотрел на неё мечтательным взглядом и вдруг вздрогнул, словно пробудившись от гипнотического сна.

«Грех — единственное, ради чего стоит жить», — сказал он.

Дама изумленно посмотрела на него, но затем осыпала его поцелуями.

«Ну что ж, возможно, вы правы; это так; запретный плод сладок для взора, на вкус и на запах».

Любовники сели на диван. Когда они вновь оказались в объятиях друг друга, мужчина робко, почти неохотно просунул руку ей под юбки. Она схватила его за руку.

«Нет, Рене, умоляю вас! Нельзя ли нам остановиться на платонической любви? Разве этого недостаточно?»

«Для вас этого достаточно?» — спросил он чуть ли не презрительно.

Она снова прижалась губами к его губам и отпустила его руку. Рука, крадучись, заскользила вверх по ноге и остановилась на коленях, лаская их; но ноги были плотно сжаты, и рука не могла проникнуть между ними и попасть этажом выше. И все же она медленно пробиралась вверх, лаская женские бедра через тонкое льняное белье,

и так, украдкой, достигла своей цели. Тогда рука скользнула в прорезь панталон и принялась трогать нежную кожу. Дама попыталась остановить Рене.

«Нет, нет! — сказала она. — Пожалуйста, не надо; мне щекотно».

Он собрался с мужеством и смело погрузил пальцы в копну прекрасных вьющихся волос, покрывающих эту часть тела.

Дама продолжала плотно сжимать бедра, особенно когда шаловливые пальцы дотронулись до края влажных губ. Однако эти прикосновения умиротворяюще подействовали на ее нервы, сопротивление ослабло, и она позволила кончику пальца пробраться по ее щели и даже пройти по крохотной ягодке, высунувшейся, дабы поприветствовать его.

Через несколько мгновений дама задышала чаще. Она заключила Телени в объятия, поцеловала, а затем спрятала голову у него на плече.

«Ах, какое наслаждение! — воскликнула она. — Какой завораживающей силой вы обладаете!»

Он ничего не ответил, лишь расстегнул свои брюки, взял тонкую маленькую женскую ручку и попытался просунуть ее в ширинку. Женщина сопротивлялась, но так слабо, будто лишь просила помедлить. Вскоре она сдалась и смело схватила фаллос который теперь уже был тугим и твёрдым и похотливо шевелился, движимый внутренней мощью.

После нескольких минут приятных манипуляций губы любовников слились, и мужчина, не давая даме опомниться, легко повалил ее на тахту, приподнял ей ноги и задрал юбки, ни на мгновение не вынимая свой язык из ее рта и не прекращая щекотать трепещущий клитор, уже увлажненный каплями собственной росы. Затем, перенеся вес на локти, он расположился меж женских бедер. Возбуждение дамы явно возросло: губки дрожали, и не пришлось раскрывать их, когда он на них надавил, ибо они раздвинулись сами, чтобы впустить маленького слепого бога любви.

С первым толчком мужчина проник на территорию храма Любви, со вторым жезл вошел наполовину, с третьим достиг самого дна колодца наслаждения. Хотя дама и не была совсем юной, но едва ли она достигла возраста расцвета, и ее плоть была не только упругой, но и такой тугой, что он оказался совершенно зажат этими нежными губами; несколько раз повторив движения туда и обратно и каждый раз

проникая всё глубже, мужчина обрушил на нее весь свой вес, поскольку обе его руки либо гладили ее груди, либо, проскользнув под нее, раздвигали ягодицы; наконец, решительно приподняв даму, он вонзил палец в отверстие ее зада, и таким образом, вошел в нее с обеих сторон, тем самым доставив ей ещё большее наслаждение.

Через несколько секунд этой маленькой игры дыхание его участилось, он запыхтел. Молочно-белая жидкость, копившаяся долгие дни, вырвалась наружу и обильными потоками устремила в глубины женского чрева. Наполненная до краёв, женщина выражала наслаждение истеричными криками, слезами и вздохами. В конце концов силы иссякли; руки и ноги оцепенели, и она замертво упала на тахту; любовник же растянулся на ней, рискуя подарить графу — её мужу — наследника цыганских кровей.

Вскоре силы вернулись к нему, и он поднялся. Дама пришла в себя и тут же залилась слезами.

Бокал шампанского привёл обоих в менее мрачное расположение духа. Несколько сандвичей с мясом куропатки, запечённые в тесте омары, салат с икрой, еще несколько бокалов шампанского с глазированными каштанами и пунш, приготовленный из мараскина, ананасовой сои и виски, налитые в те же бокалы, скоро развеяли их уныние.

«Почему бы нам не избавиться от смущения, моя милая? — сказал он. — Я подам пример, можно?»

«Конечно».

Телени снял белый галстук — это сковывающее, неудобное и ненужное дополнение, изобретённое модой только для того, чтобы мучить мужчин, затем снял предмет, именуемый воротничком, потом — фрак и жилет и остался в рубашке и брюках.

«А теперь, моя милая, позвольте мне побыть вашей горничной».

Прекрасная женщина поначалу отказывалась, но после нескольких поцелуев сдалась; и постепенно на ней не осталось ничего из одежды, кроме сорочки из прозрачного крепдешина, шёлковых чулок синевато-стального цвета и атласных комнатных туфель.

Телени покрывал поцелуями её обнажённые шею и руки, прижимался щеками к густым черным волосам подмышек и притом щекотал ее. Эта забава доставила удовольствие всему телу женщины, и щель меж её ног вновь раскрылась, так что маленький нежный клитор

выглянул наружу, словно хотел посмотреть, что происходит. С минуту Телени с силой прижимал женщину к груди; «Чёрный дрозд» — как называют его итальянцы — вылетел из клетки и рванулся в отверстие, готовое его принять.

Женщина страстно прильнула к любовнику, и ему пришлось её держать, ибо ноги её не слушались — столь сильное наслаждение она испытывала. Не выпуская женщину из объятий, он уложил ее на шкуру леопарда, расстеленную у его ног.

Теперь от робости не осталось и следа. Он стянул с себя одежду и надавил со всей мощью. Дама, дабы впустить его орудие глубже, обхватила Телени ногами с такой силой, что он почти не мог двигаться. Ему удавалось лишь тереться об неё, но этого было более чем достаточно, и после нескольких неистовых толчков ягодицами — ноги сжаты, груди сдавлены — он впрыснул в её тело кипящую жидкость, которая доставила ей спазматическое наслаждение. Она без чувств упала на леопардовую шкуру, а он откатился и застыл подле нее.

До сих пор я чувствовал, что мой образ всё время стоит у Телени перед глазами, хотя он наслаждается этой красивой женщиной — столь прекрасной, ибо она едва ли достигла возраста цветущей зрелости; но теперь наслаждение, подаренное ею, заставило его совсем забыть меня. Я возненавидел его за это. На мгновение я почувствовал, что хотел бы стать диким зверем — впиться когтями в его плоть, истязать его, как кошка истязает мышь, и рвать его на клочья.

Какое право он имеет любить кого-либо, кроме меня? Люблю ли я хотя бы одно существо на свете так, как люблю его? Могу ли я наслаждаться кем-то другим?

Нет, моя любовь — не плаксивая сентиментальщина. Она безумная страсть, овладевающая телом и раскалывающая мозг!

Если он может любить женщин, почему тогда он ласкал меня, обязывая любить его, делая из меня существо, презренное в собственных глазах?

Я корчился от гнева, до крови кусал губы. Я впивался ногтями в свою плоть. Я кричал от ревности и стыда. Я желал лишь одного — выпрыгнуть из кеба и позвонить в дверь.

Это состояние длилось несколько мгновений; затем я стал думать, что он сейчас делает, и мною опять завладело видение. Я видел, как Телени очнулся от сна, в который погрузился, охваченный восторгом.

Проснувшись, он взглянул на даму. Теперь я видел её отчетливо, — думаю, что я мог смотреть на нее только его глазами.

— Но вы ведь спали в кебе и видели всё это во сне, так?

— Нет же! Все было так, как я говорю. Спустя некоторое время я рассказал ему свое видение, и он признал, что всё произошло именно так, как мне пригрезилось.

— Но как это возможно?

— Я говорил вам уже, что между нами была тесная мысленная связь. Это вовсе не удивительное совпадение. Вы улыбаетесь, смотрите недоверчиво; а вы посмотрите, что делает «Общество медиумов», и моё видение перестанет вас изумлять.

— Ну хорошо, оставим это; продолжайте.

— Очнувшись, Телени взглянул на свою любовницу, лежавшую подле него на шкуре леопарда. Она спала крепко, как человек, побывавший на банкете и напившийся крепких напитков, или как ребенок, который, вдоволь насосавшись, удовлетворенно растягивается у материнской груди. Это был глубокий сон цветущей жизни, а не безмятежная неподвижность холодной смерти. Кровь, как весенний сок молодого деревца, поднималась к раскрытым пухлым губкам женщины, из которых через равномерные промежутки времени вырывались тёплое, ароматное дыхание и едва уловимый шум, такой, какой слышит ребёнок, когда прижимает к уху раковину, — звук дремлющей жизни.

Грудь стояли, словно разбухшие от молока, а торчащие соски, казалось, просили ласк, которые она так любила; все ее тело трепетало от ненасытного желания.

Бёдра её были обнажены, и на густых, кудрявых, агатово-чёрных волосах, покрывающих промежность, застыли жемчужинки молочно-белой росы.

Такое зрелище пробудило бы страстное, непреодолимое желание в самом Иосифе^[58], единственном целомудренном еврее, о котором мы когда либо слышали. Однако Телени, опершись на локоть, смотрел на неё с тем отвращением, какое мы испытываем, глядя на кухонный стол, покрытый требухой, объедками и бокалами с остатками вин, подававшихся на банкете, где мы только что досыта наелись.

Он смотрел на нее с презрением, какое мужчина испытывает к женщине, только что доставившей ему удовольствие и унизившей себя

и его. Более того, он был к ней несправедлив — он ненавидел её, а не себя.

Я снова почувствовал, что он любит не её, а меня, хотя она заставила его на несколько минут забыть обо мне.

Она, казалось, ощутила на себе его холодный взгляд, вздрогнула и, думая, что спит в постели, попыталась укрыться. Но рука, нащупывающая простыню, схватила и задрала рубашку, таким образом, лишь еще больше раскрывшись. От этого дама проснулась и заметила укоризненный взгляд Телени.

Она испуганно огляделась и попыталась полностью прикрыть своё тело. Затем она обвила рукой шею молодого человека.

«Не смотрите на меня так, — проговорила она. — Неужели я вам так отвратительна? О! Я это вижу. Вы презираете меня. — И её глаза наполнились слезами. — Вы правы. Зачем я поддалась? Зачем я не устояла перед любовью, мучившей меня? Увы! не вы меня, а я вас добивалась. Я за вами ухаживала. И теперь вы чувствуете ко мне лишь отвращение. Это так, скажите мне? Вы любите другую женщину! Нет! Скажите, что это неправда!»

«Это неправда», — искренне ответил Телени.

«Да, но поклянитесь».

«Я уже клялся, по крайней мере, пытался это сделать. Что толку клясться, если вы мне не верите?»

Хотя страсть погасла, Телени было искренне жаль эту красивую молодую женщину, которая, потеряв голову от любви к нему поставила под угрозу само своё существование, чтобы броситься в его объятия.

Разве найдется мужчина, которому бы не льстила любовь высокородной, богатой и красивой женщины, забывшей о том, что она замужем, дабы насладиться несколькими мгновениями блаженства в его объятиях? Ну почему женщины всегда влюбляются в мужчин, которые к ним безразличны?

Телени изо всех сил старался её успокоить, вновь и вновь повторял, что женщины его не интересуют, уверял, что навсегда останется ей верен за ту жертву, что она принесла; но жалость — не любовь, и нежность — не страсть.

Потребности были более чем удовлетворены; её красота потеряла всю свою привлекательность; любовники все целовались и целовались; он вяло водил руками по её телу от задней части шеи до

глубокой впадины меж округлых холмов, словно присыпанной снегом, тем самым даря женщине восхитительные ощущения; он ласкал ей груди, сосал и покусывал крохотные выпуклые соски, а его пальцы погружались глубоко в теплую плоть, укрытую под массой черных блестящих волос. Она сгорала, задыхалась, трепетала от наслаждения, а Телени, хотя и выполнял свою работу мастерски, оставался холоден.

«Нет, я вижу, вы не любите меня; это невозможно, чтобы вы — молодой человек...»

Она не закончила фразы. Телени почувствовал ядовитые стрелы её упреков, но остался безучастен, ибо от колкостей фаллос не становится тверже.

Она взяла безжизненный предмет в тонкие пальцы. Она тёрла и мяла его. Она даже катала его меж нежных ладоней. Но он был как кусок теста. Она вздохнула так жалобно, как, должно быть, в подобных случаях вздыхала любовница Овидия^[59]. И дама поступила так, как много веков назад поступала та женщина. Она наклонилась, взяла кончик вялой плоти губами — этот мясистый кончик, похожий на крохотный абрикос, округлый, сочный и сладкий. Скоро он весь оказался у неё во рту. Она сосала его с таким явным удовольствием, как будто была изголодавшимся ребенком, припавшим к груди кормилицы. Когда он двигался внутрь и обратно, она искусно щекотала языком крайнюю плоть, касалась нёбом крохотных губ.

Фаллос хотя и сделался несколько тверже, но оставался мягким и вялым.

Знаете, наши невежественные предки пользовались способом, называемым *pouer les aiguillettes*^[60], - то есть сделать мужчину неспособным выполнять приятную работу, предназначенную ему природой. Мы, просвещенное поколение, отбросили столь грубые суеверия, и все же наши невежественные предки были иногда правы.

— Что?! Уж не хотите ли вы сказать, что верите в такую глупость?

— Может быть, это и глупость, как вы говорите, однако это факт. Загипнотизируйте человека, и увидите, можете вы иметь над ним власть или нет.

— Но вы же не гипнотизировали Телени?

— Нет, но мы были связаны каким-то таинственным духовным родством.

В тот момент я чувствовал тайный стыд за Телени. Будучи неспособной понять ход его мыслей, женщина, казалось, смотрела на него как на молодого петуха, который, громко прокричав раз или два на рассвете, сорвал голос и теперь издавал лишь слабые, хриплые, кудахтающие звуки.

Более того, я сочувствовал этой женщине; я думал о том, как разочарован был бы я, окажись на её месте. И я вздыхал, чуть слышно повторяя: «Если бы только я был на её месте».

Столь яркий образ, возникший в моей голове, тут же отразился в мозгу Рене, и он подумал: а что, если бы вместо губ этой дамы перед ним были мои губы... и его фаллос сразу же стал твёрдым и пробудился к жизни; головка разбухла от крови; это была не просто эрекция, он едва не изверг семя. Графиня — а дама была графиней — сама удивилась этой внезапной перемене и остановилась, обретя желание. Она знала, что «Depasser le but, c'est manquer la chose»^[61]

Телени же стал опасаться, что, если лицо любовницы будет у него перед глазами, мой образ совершенно рассеется, и тогда, как бы красива она ни была, он не сможет выполнить работу до конца. Он начал с того, что стал покрывать ее поцелуями, а затем ловко перевернул. Она поддалась, не понимая, что от нее требуется. Он согнул её послушное тело и поставил её на колени, так что она явила собой прекрасное зрелище.

Это великолепная картина возбудила Рене до такой степени, что до той поры вялое орудие предстало во всей своей величине и твердости и в страстном порыве подпрыгнуло так, что ударилось о пупок.

На мгновение Рене захотелось ввести его в крохотное отверстие, которое если не является источником жизни, то наверняка — источником наслаждения; но он воздержался. Он даже устоял перед искушением поцеловать его или вонзить в него язык. Вместо этого он склонился над женщиной и, расположившись меж ее ног, попытался просунуть головку между разбухших от трения губ.

Как ни широко были раздвинуты её ноги, из-за массы густых волос, покрывавших губы, мужчине сначала пришлось раскрыть их пальцами, потому что мелкие завитки спутались, словно хотели преградить вход. Разобрав волосы, он надавил своим орудием, но сухая распухшая плоть не впускала его. Клитор оказался прижатым и

заплясал от восторга. Телени взял его в руку и стал нежно и ласково потирать и похлопывать у верхнего края губ.

Дама затрепетала и принялась с наслаждением тереть себя, стонать, истерично всхлипывать. И когда любовник ощутил, что омыт восхитительными слезами, он глубоко вонзил своё орудие, крепко обхватив даму за шею. После нескольких сильных толчков ему удалось ввести весь жезл до основания, и он проник в самый отдаленный тайник её чрева настолько глубоко, что женщина почувствовала сладостную боль, когда он коснулся шейки матки.

Следующие десять минут, — которые показались ей вечностью, — она продолжала пыхтеть, трястись, задыхаться, стонать визжать, орать, смеяться и плакать в припадке безумного восторга: «О! О! Я чувствую его! Еще... еще... быстрее... быстрее. Да! Вот так! Хватит! Все!»

Но любовник её не слушал и продолжал погружаться и выходить из неё со все возрастающей мощностью. Она молила его остановиться, но, поняв тщетность своих просьб, снова начала двигаться с удвоенной энергией...

Поскольку она стояла к нему а retro^[62], все его мысли сосредоточились на мне; узкий проход, стиснувший его пенис, и приятное возбуждение от прикосновения к шейке матки давали ему такие невыразимые ощущения, что он удвоил силу толчков и вонзал свое твёрдое орудие с такой мощностью, от которой хрупкая женщина сотрясалась под его ударами. Она едва удерживала равновесие под напором грубой силы. Но вдруг шлюзы семявыводящих каналов открылись, и Рене излил струю кипящей жидкости в глубинный тайник её чрева.

Настал момент исступления. Все мускулы женщины принялись сокращаться, сжимая и поглощая его страстно и жадно; и после нескольких коротких спазмов оба упали без чувств, всё еще не разъединившись.

— Так заканчивается Послание!

— Не совсем так, ибо девять месяцев спустя графиня родила прелестного мальчика...

— Который, разумеется, был похож на отца? Разве не все дети похожи на своих отцов?

— И все же этот ребенок не был похож ни на графиню, ни на Телени.

— Тогда на кого же, черт возьми, он был похож?

— На меня.

— Вздор!

— Как вам угодно. Но в любом случае старая развалина граф очень гордится своим сыном; он обнаружил явное сходство между своим единственным наследником и портретом одного из предков. Он всегда указывает своим гостям на этот атавизм. Говорят, что, когда он с самодовольным видом начинает со знанием дела распространяться по этому поводу, графиня пожимает плечами и презрительно поджимает губы, словно она в этом не уверена.

— Вы не рассказали мне, когда же вы с Телени встретились и как произошла ваша встреча.

— Имейте немного терпения, и вы всё узнаете. Вы понимаете сами, что, увидев, как на рассвете графиня выходит из его дома, переполненная ощущениями и эмоциями, я захотел избавиться от своей преступной страсти.

Иногда мне даже удавалось убедить себя, что Рене мне безразличен. Но как только я начинал думать, что любовь прошла, ему стоило лишь посмотреть на меня, и она захлёстывала меня с ещё большей силой, наполняя сердце и лишая рассудка. Я не находил покоя ни днем, ни ночью.

Тогда я решил не видеть его больше и не ходить на его концерты. Но решения влюблённых — как апрельский дождь, и в последний момент незначительного предлога бывало достаточно, чтобы я дрогнул и передумал.

Кроме того, я беспокоился, не встречается ли он и не проводит ли ночи с графиней или с кем-то еще.

— И что же, её визиты повторялись?

— Нет. Неожиданно вернулся граф, и они с графиней отправились в Ниццу.

Однако вскоре я увидел — я всегда был на страже, — как Телени выходит из театра с Брайанкортом. В этом не было ничего странного. Они шли под руку по направлению к квартире Телени.

Я плёлся следом за ними, держась на некотором расстоянии. Я ревновал к графине, но к Брайанкорту я ревновал в десять раз сильнее.

«Если он собирается проводить каждую ночь с новым любовником или любовницей, — думал я, — тогда зачем он говорил мне, что его сердце тоскует по мне?»

И все же в глубине души я был уверен, что он любит меня, что все другие романы — каприз, что его чувства ко мне — нечто большее, чем влечение плоти, что это настоящая, идущая от сердца, искренняя любовь.

Подойдя к дверям дома Телени, молодые люди остановились и стали разговаривать.

Улица была безлюдна. Лишь время от времени появлялись запоздалые прохожие, сонно тащившиеся домой. Я остановился на углу и сделал вид, что читаю объявление; на самом деле наблюдал за двумя молодыми людьми.

Вдруг мне показалось, что они прощаются, ибо я увидел, к Брайанкорт протянул обе руки и схватил руки Телени. Я задрожал от радости. «Все же я был несправедлив к Брайанкорт, мелькнула у меня мысль, — разве все мужчины и женщины должны быть влюблены в пианиста?»

Однако моя радость длилась недолго: Брайанкорт притянул Телени к себе, и их губы встретились в долгом поцелуе — поцелуе, от которого мне было больно и горько. Затем дверь дома Телени отворилась, и молодые люди, перекинувшись несколькими словами, вошли внутрь.

Когда я увидел, что они скрылись за дверью, слезы ярости, боли, разочарования хлынули из моих глаз. Я скрежетал зубами, я до крови кусал губы, я топал ногами; я ринулся бежать как безумный, остановился на мгновение перед закрытой дверью и принялся барабанить по бесчувственному дереву, дабы выплеснуть гнев. Наконец услышал шаги и пошел прочь. Полночи я бродил по улицам и на рассвете, измученный морально и физически, вернулся домой.

— А ваша мать?

— Матери тогда не было в городе. Она была... но о её приключениях я расскажу вам как-нибудь в другой раз — уверяю вас, они того стоят.

Наутро я твердо решил больше не ходить на концерты Телени, не следовать за ним по пятам, забыть его совершенно. Мне следовало

уехать из города, но я полагал, что нашел иное средство избавления от этой ужасной страсти.

Наша горничная недавно вышла замуж, и моя мать — по каким-то своим резонам — взяла себе в услужение деревенскую девчонку лет шестнадцати или около того, которая, как ни странно, выглядела моложе своих лет, ибо деревенские девушки обычно выглядят гораздо старше своего настоящего возраста. Хотя я не считал ее красивой, её обаяние, казалось, покорило всех. Не скажу, что в ней было нечто деревенское, ибо это сразу же вызовет у вас смутные ассоциации с чем-то неуклюжим и нескладным; она же была быстрой, как воробей, и грациозной, как котёнок; но она была полна сельской свежести, я бы даже сказал, сладости, как клубника или малина, что растёт в мшистых чащах.

Глядя на неё в городском наряде, вам всегда казалось, что вы когда-то видели её в ярком тряпье с красной косынкой на плечах; в ней была грация неприрученной косули, которая стоит под ветвистым зелёным деревом, окруженная кустами шиповника и ржавой розы и готовая умчаться прочь при малейшем шорохе.

Она была гибка и проворна, как мальчишка, и её вполне можно было бы принять за мальчика, если бы не многообещающая округлая упругая грудь, выпирающая под платьем.

Хотя девушка, казалось, знала, что ни одно её движение не остается незамеченным, однако не только не обращала внимания на восторги, но даже и сердилась, если кто-нибудь выражал их вслух или жестами.

Горе бедняге, не умевшему сдерживать чувства; очень скоро девушка давала ему понять, что у прекрасного свежего шиповника есть и острые шипы.

Из всех окружавших её мужчин я был единственным, кто не обращал на неё ни малейшего внимания. Как и все женщины, она не вызывала во мне никаких чувств. Так что я был единственным мужчиной, который ей нравился. Тем не менее её кошачья грация, мальчишеские повадки, придающие ей сходство с Ганимедом^[63], были мне приятны, и, хотя я прекрасно знал, что не испытываю к ней ни любви, ни даже интереса, все же я надеялся, что смогу относиться к ней хорошо и, может быть, даже с нежностью. Будь у меня к ней хотя бы влечение, думаю, я зашел бы так далеко, что женился бы на ней;

это было бы лучше, чем стать содомитом и иметь неверного любовника, которому нет до меня дела.

«Разве не могу я испытать с ней хоть малого удовольствия, — спрашивал я себя, — только чтобы успокоить чувства и убаюкать воспалённый мозг?»

И всё же какое из двух зол было большим: соблазнить бедную девушку, тем самым разрушив её жизнь и сделав её матерью несчастного ребёнка, или поддаться страсти, уничтожающей и тело, и душу?

Наше благородное общество закрывает глаза на первый грешок и содрогается от ужаса, узнав о втором. А поскольку это общество состоит из людей благородных, то, полагаю, благородные люди, составляющие наше добродетельное общество, правы. Какие у них основания так думать, я не знаю.

Я был истерзан, и жизнь казалась невыносимой. Больше так жить я не мог.

Усталый и измученный бессонной ночью, разгорячённый от переживаний и абсента, я вернулся домой, принял холодную ванну, оделся и позвал девушку в свою комнату.

Увидев мое изнурённое, бледное лицо, ввалившиеся глаза, она пристально на меня посмотрела и произнесла: «Вы больны, сэр?»

«Да, мне нездоровится».

«А где вы были ночью?»

«Где я был?» — спросил я с презрением.

«Да; вы не пришли домой», — сказала она с вызовом.

В ответ я нервно рассмеялся.

Я понимал, что такую натуру, как она, нужно подчинять себе сразу, а не приручать постепенно. Я схватил её в объятия и прижался губами к её губам. Она попыталась высвободиться, и сделала это скорее как беззащитная птичка, хлопающая крыльями, чем как кошка, выпускающая коготки из бархатистых лапок.

Она извивалась в моих руках и при этом тёрлась грудями о мою грудь, а бёдрами — о мои ноги. Но я продолжал держать её в тисках; я целовал её, прижимался пылающими губами к ее губам, вдыхая её свежее, здоровое дыхание.

В первый раз в жизни её целовали в губы, и, как она сказал мне потом, это ощущение привело в трепет всё её тело, словно по нему

пропустили сильный электрический ток.

Я и сам видел, что у неё кружилась голова и перед глазами всё плыло от возбуждения, которое мои поцелуи вызывали в её нервах

Когда я хотел засунуть ей в рот свой язык, её девичья скромность взбунтовалась; девушка сопротивлялась и ни за что не хотела его впустить. Потом она говорила, что ей показалось, что в рот засунули кусок раскалённого железа, и у неё было ощущение, как будто она совершает ужаснейшее преступление.

«Нет, нет, закричала она, вы меня задушите! Вы меня убьёте, отпустите меня, мне трудно дышать, отпустите, или я позову на помощь!»

Но я был настойчив, и вскоре мой язык по самый корень оказался у неё во рту. Я поднял её на руки — она была легка как пёрышко — и положил на кровать. Тогда трепещущая птичка из беззащитной голубки превратилась в когтистого остроклювого сокола, который дрался изо всех сил, царапал и кусал меня за руки, угрожал выцарапать мне глаза и колотил меня, что было мочи.

Ничто не стимулирует удовольствие больше, чем сопротивление. Кратковременная борьба, несколько обжигающих шлепков и пощёчин воспаляют любого мужчину, так же как хорошая порка разогреет кровь лучше, чем любой афродизиак, даже в неможном старике.

Борьба возбудила девушку столь же сильно, как меня, и всё же как только я повалил её на кровать, она тотчас кубарем скатилась на пол; но я был готов к её уловкам и тут же оказался сверху. Однако она выскользнула из-под меня как угорь и одним прыжком очутилась у двери. Но дверь была заперта.

Произошла еще одна драка; теперь я твёрдо решил овладеть девушкой. Будь она покорна, я велел бы ей уйти, но сопротивление сделало её желанной.

Я сжал её в объятиях. Она извивалась и пыхла, и все наши члены тесно соприкасались друг с другом. Я просунул ногу меж её бёдер; наши руки переплелись, а её груди трепетали и бились о мою грудь. Все это время она осыпала меня ударами, и каждый, казалось, воспалял и её, и меня.

Я сбросил сюртук. Пуговицы на жилете и брюках еле держались, воротник рубашки оторвался, сама рубашка превратилась в лохмотья, руки были исцарапаны в кровь. Глаза девушки блестели как у рыси,

губы налились похотью, теперь она сопротивлялась не ради защиты своей девственности, а ради удовольствия, которое доставляла ей борьба.

Я прижался губами к её рту и почувствовал, как всё девичье тело задрожало от восторга, и даже на мгновение — но только на мгновение — я ощутил, как самый кончик её языка проник мне в рот, и она словно обезумела от наслаждения. Она была похожа на менаду при первом посвящении.

Я действительно возжелал её, но мне было жаль принести её на алтарь любви так сразу, ибо эту милую игру стоило повторить.

Я снова поднял девушку на руки и положил на кровать. Как она была прелестна! Ее пышные, волнистые, растрепавшиеся в борьбе волосы локонами разметались по подушкам. Чёрные весёлые глаза с короткими, но густыми ресницами горели фосфоресцирующим огнем, пылающее лицо было забрызгано моей кровью, раскрытые трепещущие губы возродили бы к жизни даже вялый фаллос старого дряхлого monsignore^[64].

Я прижал её к кровати и несколько минут любовался ею. Казалось, это девушку раздражало, и она ещё раз попыталась высвободиться.

Крючки и петли на её платье оторвались, и сквозь вырез проглянула нежная плоть, позолоченная палящим солнцем жатвы, и две округлые груди; а вы ведь знаете, насколько эта мимолетная картина привлекательнее демонстрации всей той плоти, что выставляется на балах, в театрах и в борделях!

Я разорвал все преграды. Я сунул одну руку ей за пазуху, а второй попытался проникнуть под платье, но юбки так плотно обмотали бедра, а бедра были столь плотно сжаты, что раздвинуть их было невозможно.

После множества сдавленных криков, больше похожих на крики раненой птицы, после множества рывков и толчков с моей стороны и царапанья и кусанья — с её, моя рука наконец добралась до обнажённых колен и скользнула вверх по бёдрам. Ноги были не полными, но плотными и мускулистыми, как у акробата. Рука проникла в то место, где ноги соединялись, и наконец я нащупал редкий пушок, покрывавший холм Венеры.

Бесполезно было и пытаться ввести указательный палец меж губ. Я слегка погладил девушку. Она пронзительно кричала и просила пощады. Губы внизу немного раскрылись. Я попытался ввести палец.

«Мне больно; вы меня царапаете!» — кричала она.

В конце концов, её ноги разжались, я задрал ей платье, и она залилась слезами — слезами страха, стыда и досады.

Мой палец замер. Убирая его, я почувствовал, что он тоже орошен слезами, слезами вовсе не горькими.

«Ну что ты, не бойся!» — сказал я, обхватив её голову руками и осыпая её поцелуями, — Это была шутка. Я не хотел тебя обидеть. Ну вот, ты можешь встать. Можешь уйти, если хочешь, Я не стану удерживать тебя против воли».

И я просунул руку меж её грудей и стал пощипывать крохотные соски, размером не крупнее сочной, сладкой дикой земляники, которой веяло от девушки. Она задрожала от волнения и восторга.

«Нет, — проговорила она, даже не пытаясь встать, — я в вашей власти. Можете делать со мной, что хотите. Больше я не могу сдерживаться. Но помните, если вы меня погубите, я убью себя».

Когда она это говорила, глаза её светились такой искренностью, что я вздрогнул и отпустил ее. Разве я смог бы простить себе, если бы из-за меня она покончила с собой?

Однако бедная девушка смотрела на меня с такой нежностью и страстью, что было ясно — она не могла бороться со всепожирающим огнём, охватившим ее. Разве не было моим долгом дать ей испытать тот иступленный восторг, то блаженство, которого она жаждала отведать?

«Клянусь тебе, что не обижу тебя, сказал я. — Не бойся и не кричи».

Я поднял её грубую льняную рубашку и заметил крошечную щель между двух коралловых губ, оттенённых мягким, шелковистым чёрным пушком. Их цвет, блеск и свежесть придавали им сходство с раковинами, которых так много на берегах Востока.

Ни прелести Леды, заставившие Юпитера обернуться лебедем, ни красы Данаи, раздвинувшей бедра, чтобы принять в глубины чрева горячий золотой дождь, не могли быть соблазнительнее губ этой девушки.

Повинуясь законам собственной внутренней жизни, они раскрылись, обнажив крошечную ягодку, спелую и сочную, — каплю росы, окрасившуюся багрянцем меж алых лепестков распускающейся розы.

Я на секунду прижал её языком, и девушка забилась в иступлённых конвульсиях от жгучего удовольствия, о котором даже и не мечтала. Через мгновение мы вновь были в объятиях друг друга.

«О Камиль, — проговорила она, — вы не знаете, как я вас люблю!»

Она ждала ответа. Я закрыл ей рот поцелуем.

«Ну, скажите же мне. Вы любите меня? Вы можете любить меня хоть чуть-чуть?»

«Да», — произнес я еле слышно, ибо даже в такой момент мне трудно было заставить себя солгать.

С секунду она смотрела на меня.

«Нет, вы меня не любите».

«Но почему?»

«Не знаю. Я чувствую, что совсем вам безразлична. Скажите, разве это не так?»

«Ну, если ты так думаешь, как я могу убедить тебя в обратном?»

«Я не прошу вас на мне жениться. Я ни за что бы не стала ничьей содержанкой, но если вы действительно меня любите...» Она не закончила фразы.

«И что тогда?»

«Неужели вы не понимаете!» Она спрятала лицо у меня за ухом и еще крепче прижалась ко мне.

«Нет».

«Ну, если вы меня любите, я — ваша». И что мне было делать?

Я не хотел овладевать девушкой, которая предлагала себя столь безоговорочно, но разве не глупо было бы отпустить её, не удовлетворив её страсть и моё желание?

— Да, к тому же все эти разговоры о самоубийстве — полная чепуха.

— Не такая уж чепуха.

— Ладно-ладно, что же вы сделали?

— Я? Пошел на компромисс.

Целуя, я уложил её на бок, раздвинул крошечные губки и вдавил кончик фаллоса меж ними. Они раскрылись, и мало-помалу внутрь вошла часть головки, а потом и вся головка целиком.

Я мягко нажал, но фаллос, казалось, был зажат со всех сторон, а впереди он натолкнулся на непреодолимую преграду. Как бывает при вбивании гвоздя в стену, когда острое упирается в камень, и, если упорно стучать молотком, затупляется конец, а затем гнётся сам гвоздь, так и моё орудие при сильном надавливании сминалось и гнулось. Я корчился в поисках выхода из этого тупика.

Девушка застонала, но скорее от боли, нежели от удовольствия. Я чувствовал себя так, словно двигался ощупью в темноте; я сделал ещё один толчок, но мой таран лишь ещё больше расплющил головку об эту твердыню. Я стал подумывать, не лучше ли было положить девушку на спину и пробить себе дорогу настоящим боевым порядком, но, отступая, я почувствовал, что вот-вот кончу — нет, не вот-вот, а прямо сейчас, ибо я залил её всю густой животворной жидкостью. Бедняжка, она ничего не почувствовала, а если почувствовала, то совсем немного; я же, пережив нервное расстройство, истощенный ночным рысканием по улицам, без сил упал подле неё. С минуту девушка смотрела на меня, затем вскочила, как кошка, схватила выпавший из моего карман ключ и одним прыжком оказалась за дверью.

Я был слишком измучен, чтобы бежать за ней, и через несколько секунд крепко заснул. Впервые за долгое время я погрузился в глубокий, безмятежный сон.

Несколько следующих дней я пребывал в относительном спокойствии. Я даже перестал ходить на концерты Рене и посещать его излюбленные места. Я уже начал думать, что через некоторое время смогу относиться к нему безразлично, а потом и вовсе забуду его.

Я так жаждал, так неистово стремился немедленно стереть его из памяти, что само мое страстное желание мешало мне добиться цели. Я так боялся, что не смогу его забыть, что сам этот страх рождал его образ в моей душе.

— А ваша девушка?

— Если не ошибаюсь, она чувствовала ко мне то же, что я чувствовал к Телени. Она сочла своим святым долгом избегать меня и даже пыталась презирать, ненавидеть меня, но это ей не удавалось

— Ненавидеть? Но за что же?

— Кажется, она понимала, что если и оставалась всё ещё девственницей, то только потому, что я был к ней равнодушен. Я испытал с ней некое удовольствие, и мне этого было более чем достаточно.

Влюбись я в неё и лиши её девственности, она бы лишь ещё больше полюбила меня за ту муку, которую я ей причинил.

Когда я спросил её, неужели она не благодарна мне зато, что пощадил её девственность, она просто ответила: «Нет!» — и это было весьма решительное «нет».

«К тому же, — добавила она, — вы ничего не сделали просто потому, что не могли ничего сделать».

«Я не мог?»

«Нет».

Вновь началась борьба. Она снова оказалась в моих объятиях, и мы дрались как два боксера-профессионала — с той же жесточенностью, но с несомненно меньшим мастерством. Она была мускулистой чертовкой; её никак нельзя было назвать слабой. Кроме того, она начала понимать, какую пикантность победе придает борьба.

Я наслаждался ощущением её трепещущего тела; и, хотя она мечтала отдаться мне, я с большим трудом сумел наконец поцеловать её в губы.

Мне стоило немалых усилий уложить её на кровать и засунуть свою голову ей под юбки.

Женщины — глупые создания, напичканные нелепыми предрассудками; эта неискушенная деревенская девчонка сочла честь, которую я собирался оказать ее половому органу, чем-то вроде содомии.

Она называла меня грязным животным, свиньей и прочими приятными эпитетами. Она корчилась и извивалась, пыталась ускользнуть от меня, таким образом лишь усиливая свое удовольствие.

В конце концов она так зажала мою голову меж бедер и с такой силой надавила на неё обеими руками, что, даже если бы я захотел убрать язык от её пылающих губ, мне пришлось бы весьма постараться.

Однако же я остался там и продолжал щекотать и лизать маленький клитор, пока он не начал молить о пощаде и пока его слёзы

не убедили её в том, что этим наслаждением нельзя пренебрегать; я понял, что это единственный способ убедить женщину.

Когда вся внутренняя поверхность была обильно умащена моим языком и увлажнена потоками жгучего наслаждения, когда девушка вкусила иступленного восторга, который девственницы могут дарить друг другу, не причиняя боли и не нарушая печати невинности, её удовольствие заставило моего петушка громко закукарекать. Я высвободил его из мрачной темницы и загнал в тёмную пещеру.

Мой клотик весело вошел внутрь, но вдруг остановился. Следующий мощный толчок принёс мне больше боли, нежели наслаждения, ибо сопротивление оказалось столь сильным, что мой поршень едва не сломался. Узкие упругие стенки вагины растянулись и стиснули его, словно тугая перчатка, но гименальная ткань не порвалась.

Я спрашивал себя, зачем глупая природа соорудила такую преграду на пути наслаждения? для того ли, чтобы самовлюблённый жених думал, что он является первооткрывателем неизведанных земель? Но неужели он не знает, как искусно акушерки чинят замки, открытые адюльтерными ключами? Или для того, чтобы сделать из этого религиозную церемонию и позволить сорвать этот бутон какому-нибудь святому отцу, что давно уж стало одной из множества привилегий духовенства?

Бедная девушка чувствовала себя так, как будто в неё вонзили нож, и всё же она не кричала и не стонала, хотя глаза были полны слез.

Ещё толчок, ещё одно усилие — и завеса храма^[65] разодралась бы надвое. Но я вовремя остановился.

«Мне можно взять тебя или нет?»

«Вы уже меня погубили», — ответила она тихо.

«Ещё нет. Ты всё ещё девственница — я ведь не негодяй. Просто скажи, можно мне взять тебя или нет?»

«Если вы меня любите, я — ваша, но если вы делаете это только для минутного удовольствия... хотя делайте что угодно, но клянусь, что убью себя, если вы меня не любите».

«Так всегда говорят, но никогда не делают».

«Увидите».

Я вынул фаллос из пещеры, но, перед тем как позволить девушке подняться, нежно пощекотал её кончиком, даря огромное наслаждение

за ту боль, что причинил ей.

«Так мне можно было взять тебя или нет?» — спросил я.

«Дурак», — по-змеиному прошипела она и, выскользнув из моих объятий, скрылась.

«Подожди, в следующий раз ты узнаешь, кто дурнее», — отозвался я, но она меня уже не слышала.

— Должен признать, вы вели себя как новичок. Полагаю, однако, в следующий раз вы взяли реванш.

— Мой реванш — если это можно так назвать — был ужасен.

Наш кучер, молодой, крепкий, широкоплечий и мускулистый малый, который прежде тратил свою любовь на лошадей, влюбился в эту девушку, тонкую, как веточка падуба.

Он всеми способами честно пытался ухаживать за ней. Его прежняя сдержанность и новорожденная страсть смягчили всё, что было в нём грубого. Он засыпал девушку цветами, лентами и всякими безделушками, но она с презрением отвергала все его подарки.

Однажды он сделал ей предложение. Он дошел до того, что решил подарить ей дом и клочок земли, имевшиеся у него в деревне.

Она изводила его своим презрением и тем, что воспринимала его любовь как оскорбление. В его глазах было непреодолимое желание, в её глазах — пустота.

Доведённый до бешенства её безразличием, он силой попытался получить то, чего не мог добиться любовью, и был вынужден признать, что прекрасный пол не всегда слаб.

После неудавшейся попытки девушка стала мучить его еще сильнее. Встречая его, она прижимала ноготь большого пальца к верхним зубам и производила слабый щелчок.

Кухарка, питавшая тайную любовь к этому сильному, мускулистому молодцу, и, видимо, подозревавшая, что между девушкой и мной что-то есть, очевидно, сообщила ему о своих догадках и тем самым вызвала в нем необузданный приступ ревности.

Уязвленный до глубины души, парень едва ли понимал, чего в нём больше — любви или ненависти, и нимало не заботился о том, что с ним станет, лишь бы удовлетворить свою страсть. Нежность, пробужденная в нём любовью, отступила перед сексуальной энергией самца.

Он тайно проник к девушке в комнату — а может быть, его провела кухарка — и укрылся за старой ширмой, которую убрали туда вместе с другим хламом.

Он намеревался оставаться в укрытии до тех пор, пока она не заснет, а потом забраться к ней в постель и, *polens volens*^[66], провести с ней ночь.

Прождав в смертельном беспокойстве некоторое время — ибо каждая минута казалась ему часом, — он наконец её увидел.

Войдя в комнату, девушка закрыла дверь на ключ. От радости парень задрожал всем телом: во-первых, она явно никого не ждала и, во-вторых, была теперь в его власти.

Он всё прекрасно видел сквозь две дыры, проделанные им в ширме. Девушка готовилась ко сну: распустила волосы и вновь завязала их слабым узлом; сняла платье, корсет, юбки и всё нижнее бельё, оставшись в одной рубашке. Затем с глубоким вздохом она взяла четки и стала молиться. Он сам был человеком религиозным и с радостью начал бы повторять за ней слова молитвы, но, как ни пытался, не смог пробормотать и нескольких слов — все его мысли были заняты девушкой.

Полная луна заливала комнату мягким светом, который падал на обнаженные руки девушки, на округлые плечи и маленькие холмики груди, раскрашивая их во все оттенки опала и придавая им атласный блеск и янтарное сияние. Льняная рубашка складками струилась по её телу с мягкостью фланели.

Охваченный благоговейным страхом, парень не шевелился; он не сводил с неё глаз, сдерживая хриплое разгорячённое дыхание и глядя на неё с той неотступной напряженностью, с какой кошка наблюдает за мышкой или охотник — за дичью. Он весь, казалось, превратился в зрение.

И вот девушка закончила молитву, перекрестилась и встала с колен. Подняв правую ногу, чтобы взобраться на довольно высокую кровать, она продемонстрировала кучеру стройные, красивые ноги, маленькие, но округлые ягодицы, а наклонившись и поставив колено на кровать, — нижнюю часть широко раскрытых губ.

Однако кучеру некогда было их рассматривать. Одним кошачьим прыжком он оказался на девушке. Она лишь слабо вскрикнула, но он уже сгрёб её в объятия.

«Отпусти! Отпусти! Или я позову на помощь».

«Зови сколько хочешь, милая. Никто не сможет помочь тебе раньше, чем ты станешь моей, и, клянусь девой Марией, я не уйду из этой комнаты, пока не натешусь тобой. Если этот boure^[67] может тобой пользоваться, то и я буду. Если же он этого ещё не сделал, — что ж, в конце концов лучше быть женой бедняка, чем шлюхой богача; а уж ты-то знаешь, хочу я на тебе жениться или нет.

Говоря это и сжимая её одной рукой, словно тисками, другой рукой он пытался повернуть её голову к себе^[68], чтобы добраться до губ, но, увидев, что это не удастся, повалил девушку на кровать. Держа её за шею сзади, он просунул вторую руку ей между ног и сжал её промежность своей сильной ладонью.

Приготовившись заранее, он забрался меж её раздвинутых ног и начал вдавливать свое орудие в нижнюю часть полураскрытых губ.

После моей попытки они были распухшими и сухими, и большой набухший фаллос соскользнул и уткнулся в верхний угол. Как сгибающаяся под тяжестью пыльцы тычинка от поцелуя лишаящего девственности ветерка разбрасывает свою ношу на раскрытые яичники, так набухший, переполненный фаллос, едва коснувшись крошечного клитора, выпустил струю молодого семени не только на него, но обрызгал и всё вокруг. Девушка почувствовала, что её живот и бедра залиты тёплой жидкостью, и ей показалось, что жидкость обжигает, словно жгучий едкий яд. Она скорчилась, словно от боли.

Но чем сильнее девушка сопротивлялась, тем большее удовольствие испытывал парень; о восторге говорили его стоны и хрипы, которые, казалось, поднимались к горлу от самого паха. Он на минуту остановился, но его орган не утратил ни силы, ни твёрдости. Брыкания девицы лишь сильнее распалили его. Положив огромную руку ей между ног, он приподнял её повыше и, грубо прижимая к кровати, вдавил мясистую головку. Губы, залитые скользкой жидкостью, легко раскрылись.

Теперь это едва ли был вопрос дарения и получения наслаждения. Это была та дикая, всепоглощающая страсть, какую самец проявляет во время обладания самкой. Вы можете убить его, но он не выпустит добычу из лап. Парень прорывался со всей мощью грузного быка. Одно усилие — и головка оказалась меж губ, еще одно — и внутрь вонзилась половина ствола, но тут же была остановлена всё ещё целой,

хотя и сильно растянутой девственной плёвой. Почувствовав препятствие у входа в вагину, он возликовал и восторженно осыпал голову девушки поцелуями. «Ты моя, — кричал он радостно, — моя до смерти, моя во веки веков».

Девушка, должно быть, сравнила его дикий восторг с моим холодным безразличием и всё же попыталась закричать, но он закрыл её рот рукой. Девушка укусила его, но он этого не заметил. Не обращая внимания на боль, которую причинял ей, не замечая перегрузки, которую вынужден был выдерживать пленник, заключенный в узкой клетке, парень со всей силой сжал девушку и с последним мощным толчком не только проник в вульву, но прошёл сквозь нее. Столь прочная плёва бедной девушки разорвалась, фаллос вошёл глубоко в вагину и скользнул к шейке матки.

Девушка издала громкий, пронзительный крик, крик боли и страдания, который в тишине ночи разнесся по всему дому. Не обращая внимания на шум, вызванный в доме девичьими криками, не замечая хлещущей крови, кучер восторженно погружал и вынимал свое копьё в рану, и его стоны наслаждения смешивались с её жалобными рыданиями.

Наконец он вынул свое гибкое оружие. Девушка была свободна, но лишилась чувств.

Я поднимался по лестнице, когда услышал крик. Хотя я не думал о бедняжке, мне сразу же показалось, что это её голос. Я взлетел по лестнице, бросился в квартиру и в коридоре натолкнулся на бледную, трясущуюся кухарку.

«Где Кэтрин?»

«У себя в комнате, н-наверно».

«Тогда кто кричал?»

«Я... я не знаю. Может быть, она».

«Так почему же ты не пришла ей на помощь?»

«Дверь заперта», — произнесла кухарка с ужасом.

Я кинулся к двери и навалился на неё всем своим весом. «Кэтрин, открой! Что случилось?»

Услышав мой голос, бедняжка пришла в себя. Еще одним мощным ударом я сломал замок. Дверь распахнулась.

У меня хватило времени, чтобы увидеть девушку в запачканной кровью рубашке. Распущенные волосы растрепались. Глаза горели

бешеным огнем. Лицо исказили боль, стыд и безумие. Она была похожа на Кассандру, изнасилованную воинами Аякса^[69].

Она стояла у окна. Её взгляд с кучера переместился на меня, полный ненависти и презрения.

Теперь она узнала, что такое любовь мужчины. Девушка бросилась к окну. Я побежал к ней, но она меня опередила и выпрыгнула из окна. Ни я, ни кучер не успели ей помешать. Хотя я схватил её за край рубашки, одежда порвалась под весом тела, и я остался с клочком в руке.

Мы услышали глухой удар, крик, несколько стонов, потом тишина.

Девушка оказалась верна своему слову.

Ужасное самоубийство служанки не выходило у меня из головы несколько дней и после еще некоторое время мучило и беспокоило меня. Я не был казуистом и потому задавался вопросом, не было ли и моей вины в том, что девушка совершила столь безрассудный поступок; я пытался хоть как-то компенсировать несчастье кучера и делал все, что мог, чтобы вытащить его из беды. Кроме того, я привязался к этой девушке и действительно старался полюбить ее, так что эта смерть сильно меня расстроила.

Мой управляющий, — скорее это он распоряжался мною, а не я — им, — заметив, как расшатались мои нервы, убедил меня отправиться в короткую деловую поездку, которую иначе ему бы пришлось предпринять самому.

Все эти обстоятельства принудили меня перестать думать о Телени, который в последнее время полностью завладел моими мыслями. Посему я заключил, что совершенно забыл его, и уже поздравлял себя с победой над страстью, заставившей меня презирать себя самого.

Вернувшись домой, я не только сторонился его, но даже старался пропускать упоминания его имени в газетах; более того, если я видел его на уличных афишах, то отворачивался, хотя это имя сильно притягивало меня, настолько я боялся подпасть под его чары. Но долго ли я мог избегать его? Разве не свела бы нас снова малейшая случайность? И что тогда?...

Я убеждал себя, что его власть надо мной исчезла и что он не сможет обрести ее вновь. Дабы удвоить свою уверенность, я решил

при первой же встрече с ним сделать вид, что с ним не знаком. Кроме того, я надеялся, что он уедет из города, если не навсегда, то хотя бы на некоторое время.

Вскоре после моего возвращения мы с матерью отправились в театр. Мы сидели в ложе, как вдруг дверь отворилась и в проёме появился Телени.

Увидев его, я ощутил, как побледнел, а затем зарделся; ноги мои подкосились, сердце заколотилось с такой оглушительной силой, что грудь готова была разорваться. На мгновение я почувствовал, что все мои благие намерения пошли прахом, но тут же возненавидел себя за слабость и, схватив шляпу и едва поклонившись молодому человеку, выбежал из ложи, словно безумный, предоставив матери извиняться за мое странное поведение. Не успел я выскочить из ложи, как меня потянуло обратно, и я едва не вернулся, чтобы молить о прощении. Только стыд помешал мне сделать это.

Когда я вернулся, мать с досадой и удивлением спросила, почему я был так груб с музыкантом, которого все радушно принимают и высоко ценят.

«Если не ошибаюсь, два месяца назад вряд ли кто-то мог с ним тягаться, — сказала она, — но теперь, когда пресса ополчилась на него, ему даже не кланяются».

«Пресса ополчилась на него?»

«Что?! Неужели ты не читал, с какой злобой его критикуют в последнее время?»

«Нет. У меня были дела поважнее пианиста».

«В последнее время он не в форме. Его имя несколько раз появлялось на афишах, но он не выступал. Кроме того, на последних концертах он играл очень посредственно и скучно — ничего общего с прежним блистательным исполнением».

Словно чья-то рука сжала мне сердце, но я изо всех сил постарался сохранить безразличный вид.

«Жаль, — произнес я равнодушно, — но, полагаю, дамы утешат его и тем самым затупят наконечники газетных стрел».

Мать пожала плечами и презрительно скривила губы. Либо она угадала кое-какие мои мысли, либо поняла, как горько я сожалею о том, что дурно обошелся с молодым человеком, которого —

бесполезно было продолжать скрывать это или лгать самому себе — я всё ещё любил. Да, любил больше, чем раньше, любил до безумия.

На следующее утро я просмотрел все газеты, где упоминалось его имя, и обнаружил — возможно, с моей стороны тщеславно так думать, — что с того дня, когда я перестал ходить на его концерты, он играл отвратительно, и в конце концов критики, некогда бывшие снисходительными, восстали против него, стремясь внушить ему должное чувство ответственности перед публикой и перед самим собой.

Примерно через неделю я вновь пошел слушать его игру.

Когда он вошел, я удивился перемене, произошедшей в нем за столь короткое время: он был не только изможден и подавлен, но бледен, худ и выглядел больным. Казалось, за эти несколько дней он постарел на десять лет. В нем произошла та же перемена, какую мать по моем возвращении из Италии заметила и во мне, но она, разумеется, приписала ее недавно полученному шоку.

Когда Рене вышел на сцену, несколько человек попытались ободрить его аплодисментами, но тихий шепот неодобрения и едва различимое шипение, последовавшее за ним, сразу же остановили эти слабые попытки. Музыкант, казалось, был презрительно равнодушен и к тем, и к другим звукам. Он с безразличием сел, словно человек, измученный лихорадкой, но, как потом утверждал один из музыкальных критиков, в его глазах тут же загорелся огонь искусства. Он искоса взглянул на публику. Это был ищущий взгляд, полный любви и благодарности.

Он начал играть и играл не как если бы это было для него утомительно, но так, как будто изливал переполненную душу; музыка лилась словно трель соловья, который, стремясь пленить подругу, выплескивает потоки восторга в полной решимости завоевать её или умереть, отдав все силы искусству импровизации.

Не стоит и говорить, что светлая грусть его песни целиком захватила меня и заставила трепетать толпу.

Музыка стихла, и я поспешил уйти — откровенно говоря, я надеялся встретить его. Пока он играл, во мне происходила мощная борьба между сердцем и рассудком; охваченные огнем чувства вопрошали у холодного разума, какой смысл бороться с неукротимой

страстью? Конечно, я готов был простить Рене все свои муки, ибо имел ли я право злиться на него?

Когда я вошел в фойе, он был первым, вернее, единственным, кого я увидел. Чувство неопишуемой радости наполнило все мое существо, и сердце, казалось, рванулось навстречу юноше. Но внезапно весь мой восторг схлынул, кровь застыла в жилах, а любовь сменилась гневом и ненавистью. Рене держал под руку Брайанкорта, который бурно поздравлял его с успехом и лънул к нему, как плющ к дубу. Глаза Брайанкорта встретились с моими; его взгляд был полов восторга, мой — источал испепеляющее презрение.

Увидев меня, Телени тут же высвободился из когтей Брайанкорта и подошел ко мне. Ревность ослепила меня; я сухо и холодно поклонился ему и прошел мимо, не замечая протянутых ко мне рук

Я услышал тихий шепот присутствующих и, проходя мимо музыканта, краем глаза увидел, что он был оскорблен, что он то краснел, то бледнел, что гордость его была уязвлена. Несмотря на вспыльчивость характера, он лишь безропотно кивнул, словно говоря: «Будь по-вашему», — и вернулся к Брайанкорт, просиявшему от удовольствия.

«Он всегда был невежей, лавочником, спесивым *parvenu*^[70]! — сказал Брайанкорт довольно громко, так, чтобы я услышал. — Не обращайтесь на него внимания».

«Нет, — отозвался Телени задумчиво, — это моя вина, а не его».

Он не понимал, как истекало кровью мое сердце, когда я вышел из фойе, как при каждом шаге оно рвалось назад, как хотел я вернуться и при всех броситься ему на шею и молить о прощении.

С минуту я колебался, не пойти ли к нему и не протянуть ли своей руки. Увы! Часто ли мы поддаемся горячим сердечным порывам? Разве вместо этого мы не следуем советам расчетливого, замутненного понятием долга, холодного рассудка?

Было еще рано, но я некоторое время стоял на улице и ждал, не выйдет ли Телени. Я решил, что, если он будет один, я подойду и попрошу у него прощения за грубость.

Вскоре он появился в дверях с Брайанкортом.

Моя ревность вспыхнула вновь. Я резко повернулся и пошел прочь. Больше я не хотел его видеть. Завтра я сяду в первый же поезд и уеду — куда угодно, прочь из этого мира, если это возможно.

Это состояние длилось недолго; гнев понемногу улегся, любовь и любопытство заставили меня остановиться. Я огляделся; их нигде не было; и все же я направил свои стопы к дому Телени.

Я немного вернулся, заглянул в соседние улицы; Телени и Брайанкорт исчезли.

Теперь, когда он исчез из вида, стремление найти его усилилось. Возможно, они пошли к Брайанкорт. Я поспешил к его дому.

Вдруг мне показалось, что вдалеке я увидел две похожие фигуры. Я ринулся за ними, как безумный. Я поднял воротник пальто, надвинул на уши мягкую фетровую шляпу, дабы не быть узнанным, и пошел по противоположной стороне улицы.

Я не ошибся. Они свернули в переулок; я — за ними. Куда они направляются, чего ищут в этом глухом районе?

Чтобы не привлекать их внимания, я останавливался у афиш, замедлял, а потом ускорял шаг. Несколько раз я замечал, как соприкасались их головы, потом Брайанкорт обнял Телени за талию.

Всё это было для меня горше желчи и полыни. И все же у меня было одно утешение — я видел, что Телени уступает ухаживаниям Брайанкорта, но не ищет их.

Наконец они вышли на Н-скую набережную, столь оживлённую и днем и тихую ночью. Там они, казалось, искали кого-то, поскольку то и дело оглядывались, всматриваясь в прохожих и изучая людей, сидящих на лавках вдоль набережной. Я продолжал идти за ними.

Мысли мои были заняты настолько, что я не сразу заметил что рядом со мной идет неизвестно откуда появившийся мужчина. Я занервничал, ибо мне показалось, что он не только старался идти рядом, но и пытался привлечь мое внимание; он напевал и насвистывал обрывки мелодий, покашливал, прочищал горло и шаркал ногами.

Я слышал эти звуки словно сквозь пелену и не обращал на них внимания. Все мои мысли были сосредоточены на двух фигурах впереди. Мужчина же продолжал идти рядом, но вдруг резко повернулся и пристально посмотрел на меня. Я все это видел, но не придал этому никакого значения.

Он помедлил, дал мне пройти, затем ускорил шаг и вскоре опять шел рядом. В конце концов я взглянул на него. Несмотря на холод,

одет он был легко: короткий черный бархатный жакет и узкие светло-серые брюки, обрисовывающие форму бедер и ягодиц, как трико.

Когда я взглянул на него, он снова пристально на меня посмотрел и улыбнулся пустой, бессмысленной, идиотской улыбкой, похожей на гримасу *raccrocheuse*^[71]. Не переставая смотреть на меня зовущим, плотоядным взглядом, он направился на соседнюю улицу Веспасьен.

«Что во мне такого особенного, что парень так пожирает меня глазами?» — пробормотал я задумчиво.

Однако я не обернулся и продолжал идти, не обращая на него внимания и устремив взгляд на Телени.

Когда я проходил мимо следующей лавки, кто-то снова стал шаркать ногами и прочищать горло, очевидно желал заставить меня обернуться. Я обернулся. Увидев, что я смотрю на него, парень не то расстегнул, не то застегнул брюки.

Вскоре я опять услышал приближающиеся сзади шаги; человек подошел ко мне вплотную. Я почувствовал сильный запах духов — если ядовитый запах мускуса или пачули можно назвать духами.

Проходя мимо, человек слегка до меня дотронулся и извинился; это был мужчина в бархатном жакете или его Дромио^[72]. Он снова пристально посмотрел на меня и ухмыльнулся. Глаза его были накрашены, щёки слегка нарумянены. Бороды не было видно вовсе. На мгновение я засомневался, мужчина это или женщина, но когда он вновь остановился перед колонной, я совершенно убедился в его половой принадлежности.

Еще один человек, трясая ягодицами, жеманной походкой прошел из-за одного из этих *pissoirs*^[73]. Это был старый, жилистый, глуповато ухмыляющийся мужчина, сморщенный, как побитый морозом пепин. Щеки его ввалились, а выступающие скулы были багровыми; он был выбрит и пострижен и носил парик из длинных светлых, соломенного цвета локонов.

Он шел, приняв позу Венеры Медичи, — то есть одна рука лежала на промежности, а другая — на груди. Старик не только вел себя с деланной скромностью, но в нем была чуть ли не девичья застенчивость, что придавало ему вид зазывалы-девственника.

Проходя мимо, он не смотрел на меня прямо, а лишь бросал косые взгляды. Навстречу ему шел рабочий — сильный, крепкий парень, мясник или кузнец. Старик, очевидно, проскользнул бы потихоньку

мимо него, но рабочий его остановил. Я не слышал их разговора, поскольку хотя они и стояли всего в нескольких шагах от меня, но говорили тем шепотом, который столь характерен для любовников. Видимо, предметом их беседы был я, ибо рабочий обернулся и пристально посмотрел на меня. Они расстались.

Рабочий прошел шагов двадцать, потом резко повернулся и направился назад по тому же тротуару, по которому шел я, вероятно желая встретиться со мною лицом к лицу.

Я взглянул на него. Это был здоровяк с крупными чертами лица — прекрасный образец самца. Проходя мимо меня, он сжал свой мощный кулак, согнул мускулистую руку в локте и сделал несколько вертикальных движений туда и сюда, похожих на работу поршневого штока, входящего и выходящего из цилиндра.

Некоторые знаки настолько ясны и выразительны, что не нуждаются в пояснении. Жест рабочего был именно таков.

Теперь я понял, кем были все эти ночные тени. Почему они так упорно на меня смотрят? И что означают все эти уловки, которыми они пытаются привлечь мое внимание? Может быть, мне всё это снится? Я оглянулся. Рабочий остановился и повторил свою просьбу в иной форме. Он сжал левый кулак, сунул указательный палец правой руки в отверстие, образованное пальцами левой руки, и стал двигать им взад-вперед. Жест был грубым и недвусмысленным. Я не ошибся. Я поспешил прочь, размышляя о том, в самом ли деле Содом и Гоморра были уничтожены огнем и серой.

Став старше, я узнал, что в каждом большом городе есть свои места — площадь или парк — для подобных развлечений. А что полиция? Полиция смотрит на это сквозь пальцы до тех пор, пока не будет совершено какое-нибудь чудовищное преступление, ибо перекрывать жерла вулканов весьма небезопасно. Поскольку публичные дома с проститутками-мужчинами запрещены, приходится терпеть существование подобных мест свиданий, иначе все вокруг превратится в современные Содом и Гоморру.

— Что?! Такие города существуют и в наши дни?

— Конечно! С возрастом Иегова стал опытнее. Он научился понимать своих детей лучше, чем во дни оны, и либо Он стал истинно терпимым, либо, как Пилат, умыл руки^[74] и совсем отвернулся от них.

Сначала я почувствовал глубокое отвращение, увидев, как этот старый мальчик на содержании снова проходит мимо меня, с предельной скромностью убирает руку с груди, засовывает костлявый палец себе в рот и двигает им в той же манере, в какой рабочий двигал рукой, пытаюсь при этом придать своим движениям девичью застенчивость. Как я узнал позже, он был rompreur de dard^[75] то есть я назвал бы его «спермососом». Это было его специальностью. Он занимался этим из любви к ремеслу, и многолетний опыт сделал из него настоящего мастера своего дела. Во всех других отношениях он, по-моему, жил отшельником, и позволял себе только одну слабость — тонкие батистовые носовые платки с кружевом или вышивкой; ими он обтирал орудия своих поклонников после того, как заканчивал работу.

Старик направился к реке, явно приглашал меня на полуночную прогулку в тумане под сводами моста или в каком-нибудь ещё глухом углу или закоулке. Оттуда вышел еще один мужчина; он оправлял одежду и чесал зад, как обезьяна. Несмотря на то, что эти люди вызывали у меня чувство гадливости, картина была для меня настолько новой, что, должен сказать, я весьма ею заинтересовался.

— А как же Телени?

— Я был так поглощен наблюдениями за полуночными странниками, что совершенно потерял из виду и его, и Брайанкорта. Но вдруг я снова увидел их.

С ними был молодой, щеголеватого вида сублейтенант-зуав и стройный смуглый юноша, по-видимому, араб.

Их встреча не была похожа на любовную. Солдат развлекал друзей, оживленно о чем-то болтал, и по нескольким словам, долетевшим до меня, я понял, что тема беседы была интересной. Когда они проходили мимо скамеек, расположившиеся на них парочки слегка подталкивали друг друга локтем, будто были знакомы с путниками.

Проходя, мимо них, я вжал голову в плечи и спрятал лицо в воротник. Я даже прикрыл лицо носовым платком. Но, несмотря на все принятые мной меры предосторожности, Телени, казалось, узнал меня, хотя я шёл, не обращая на него ни малейшего внимания.

Я слышал их весёлый смех; в моих ушах всё ещё звучало эхо гадких слов; изнеженные, женоподобные мужчины бродили по улицам, пытаюсь соблазнить меня своими отвратительными уловками.

С тяжёлым сердцем, разочарованный, полный ненависти к себе и к ближним, я поспешил прочь. Я спрашивал себя, чем я лучше всех этих почитателей Приапа, погрязших в пороке. Я тосковал по любви человека, для которого значил не больше, чем любой из этих содомитов.

Было поздно, и я шел, в точности не зная, куда приведут меня ноги. Чтобы добраться до дому, мне не нужно было переходить через мост, тогда зачем же я это сделал? Я обнаружил, что стою на середине моста и бессмысленно смотрю в пустое пространство.

Река, словно серебристый пролив, разделяла город на две части. С обеих сторон из тумана поднимались огромные мрачные дома; расплывчатые очертания куполов, смутные контуры башен, окутанные туманной дымкой гигантские шпили, дрожа, взмывали к облакам и растворялись в тумане.

Внизу блестела холодная, открытая всем ветрам, шумная река; она все убыстряла и убыстряла свое течение, как будто раздражаясь тем, что не может превзойти в скорости саму себя, и, закручиваясь в крошечные буруны, терлась о своды, преграждавшие ей путь, а затем злобными вихрями уносилась прочь; темные опоры моста черными, как смоль, клочками отражались в сверкающих, покрытых рябью водах.

Глядя на эти беспокойные танцующие тени, я видел мириады огненных змееподобных эльфов, скользящих между ними; они подмигивали мне, манили к себе, кружась и качаясь на гребнях реки и искушая меня обрести покой в этих дающих забвение водах.

Они были правы. Под этими темными сводами, на мокром мягком песчаном дне кружащейся в водовороте реки должно быть покойно.

Какими глубокими, какими бездонными казались эти воды! Окутанные легким туманом, они были полны очарования бездны. Почему бы мне не найти в них тот бальзам забвения, который единственно мог облегчить головную боль и унять огонь в груди?

Но почему нет? Не потому ли, что Всемогуший запретил самоубийство в своих заповедях? Как, когда и где? Своим огненным перстом, когда произвел *coup de theatre*^[76] на горе Синай? Если так, то зачем он посылал мне испытания, которые я не в силах выдержать? Разве отец станет искушать возлюбленное дитя своё ослушаться только для того, чтобы насладиться своей карой? Разве мужчина

станет лишать невинности собственную дочь не из похоти, а затем лишь, чтобы бросать ей злобные — упреки в нецеломудрии? Если такой человек и существовал когда-либо, он был создан по образу и подобию Иеговы.

Нет, жить стоит только тогда, когда жизнь приносит радость. В тот момент она была мне в тягость. Страсть, которую я старался потушить и которая тлела во мне, вспыхнула с новой силой и овладела мною целиком. Это преступное чувство можно было побороть только другим преступлением. В моем случае самоубийство было не только позволительным, но достойным похвалы и даже героическим.

Что говорится в Евангелии? «Если глаз твой...» — и так далее.

Все эти мысли кружили в моей голове, как маленькие огненные змейки. Из тумана, словно возникший из дымки ангел света, Телени, казалось, пристально смотрел на меня своим глубоким, печальным, задумчивым взглядом; внизу стремительные воды звали меня сладким манящим голосом сирены.

Я почувствовал, как закружилась голова. Я терял сознание. Я проклинал этот прекрасный мир — этот рай, который человек превратил в ад. Я проклинал наше полное предрассудков общество, которое в лицемерии лишь процветает. Я проклинал нашу вредоносную религию, которая накладывает вето на все чувственные наслаждения.

Я уже взбирался на парашют, решив обрести забвение в этих мрачных, как Стикс^[77], водах, как вдруг в меня крепко вцепились две сильные руки.

— Это был Телени?

— Да. «Камиль, любовь моя, душа моя, вы с ума сошли?» — произнес он, задыхаясь.

Мне все это снится? Неужели это он, Телени? Кто он — мой ангел-хранитель или демон-искуситель? Я окончательно сошел сума?

Эти мысли промелькнули одна за другой и совершенно сбили меня с толку. Однако через мгновение я понял, что это не сон и я не сошел с ума. Передо мною стоял Телени — из плоти и крови, ибо мы крепко сжимали друг друга в объятиях, и я чувствовал его всем телом. Я очнулся от ночного кошмара.

Пережитое мною нервное напряжение и наступившая затем слабость и, кроме того, его крепкие объятия породили во мне

ощущение, что наши тела прочно соединились и слились в единое целое.

В этот момент я испытал очень странное чувство. Хотя мои руки блуждали по его голове, шее, плечам, рукам, я совершенно не ощущал; мне даже казалось, что я трогаю свое собственное тело. Наши пылающие лбы были прижаты друг к другу, и вздувшиеся трепещущие вены казались мне моим собственным неровно бьющимся пульсом.

Инстинктивно, даже не ища друг друга, наши губы единодушно слились. Мы не целовались, но наше дыхание вернуло к жизни оба наши существа.

Некоторое время я был как в тумане; я чувствовал, как угасали силы, но обладал достаточной энергией, чтобы понять, что ещё жив.

Внезапно всё моё тело сотряслось, словно от мощного удара; от сердца к мозгу хлынул обратный поток. Каждый мой нерв трепетал; казалось, меня с головы до ног кололи острые иглы. Мы отстранились друг от друга, но теперь наши губы соединились с вновь пробужденным вожделением. Наши жаждущие слияния рты прижались друг к другу и принялись тереться друг о друга с такой неистовой силой, что из них начала сочиться кровь; казалось, эта влага хлынула из наших сердец, дабы в этот священный момент справить свадебный обряд древних племен — единение двух тел — через причастие не символическим вином, но самой кровью.

Некоторое время мы пребывали в состоянии всепоглощающего исступления, с каждой секундой испытывая все более восхитительное, сводящее с ума наслаждение от поцелуев; они доводили до безумия, разжигая пламя, которое невозможно было укротить, и возбуждая голод, который невозможно было утолить.

Эти поцелуи были квинтэссенцией любви. Все, что было в нас возвышенного — сама наша сущность, — поднималось с наших губ как пары эфирной, пьянящей, божественной жидкости.

Затихшая, смолкшая природа, казалось, затаив дыхание, наблюдала за нами, ибо на земле ей редко доводилось — если вообще доводилось — видеть столь исступленное блаженство. Я был подавлен, сломлен, разбит. Земля плыла у меня перед глазами, уходила из-под ног. У меня больше не было сил стоять. Я чувствовал дурноту и слабость. Я умирал? Если так, то смерть — самый счастливый момент в нашей жизни, ибо такое наслаждение нельзя испытать дважды.

Долго ли я был без сознания? Не могу сказать. Знаю только, очнулся среди бури; вокруг бурлила вода. Понемногу я пришёл в себя и попытался высвободиться из его объятий.

«Оставьте меня! Оставьте меня в покое! Почему вы не дали умереть? Этот мир мне отвратителен, так зачем влачить жизнь, которую я ненавижу?»

«Зачем? Ради меня».

Потом он стал нежно шептать на своем незнакомом мне языке какие-то волшебные слова, которые врезались мне в душу. Затем он добавил: «Мы созданы друг для друга природой; зачем же противостоять ей? Я могу обрести счастье в вашей и только в вашей любви. Не только мое сердце, но моя душа томится по вашей душе».

Собрав все свои силы, я оттолкнул его и отшатнулся сам. «Нет, нет! — закричал я. — Не искушайте меня; я этого не выдержу. Лучше дайте мне умереть».

«Да будет воля твоя, но мы умрем вместе, чтобы хотя бы в смерти быть неразлучными. Существует жизнь после смерти; может быть, хоть там мы сможем соединиться, как Франческа Данте и ее возлюбленный Паоло^[78]. Вот, — сказал он, разматывая шелковый шарф, завязанный вокруг пояса, — давай привяжемся им плотно друг к другу и прыгнем в воду».

Я взглянул на него и содрогнулся. Такой молодой, такой красивый — и я должен его убить! Образ Антиноя — каким я видел его, когда впервые слушал игру Телени, — возник передо мною.

Он крепко завязал шарф на талии и собирался опоясать им меня.

«Давайте».

Жребий был брошен. Я не имел права принимать от него такую жертву.

«Нет, — промолвил я, — будем жить».

«Жить, — отозвался он, — и что тогда?»

Некоторое время он молчал, словно ожидал ответа на вопрос, не оформленный в слова. В ответ на его немой призыв я протянул к нему руки. Он — будто испугавшись, что я ускользну от него, — сжал меня в объятиях со всей силой необузданного желания.

«Я люблю вас! — зашептал он. — Я безумно люблю вас! Я больше не могу без вас жить».

«Я тоже, — ответил я чуть слышно, — я тщетно пытался избавиться от своей страсти, но теперь отдаюсь ей, отдаюсь не покорно, а с радостью и нетерпением. Я ваш, Телени! Я счастлив быть вашим, только вашим, вашим навсегда!»

В ответ я услышал лишь хриплый, сдавленный крик, вырвавшийся из самых глубин его души; глаза его вспыхнули огнем; желание превратилось в неистовую страсть, страсть дикого зверя, поймавшего свою жертву, страсть одинокого самца, нашедшего наконец подругу. Однако в его пыле было нечто большее; в нем была душа, рвущаяся навстречу другой душе. Это было томление чувств и безрассудное упоение разума.

Можно ли было назвать похотью этот нестерпимый, неугасимый огонь, охвативший наши тела? Мы впились друг в друга с такой жадностью, с какой голодный зверь вцепляется в пожираемую им еду. Мы целовались со всё возрастающей ненасытностью, и мои пальцы перебирали завитки его волос и гладили нежную кожу его шеи. Мы плотно прижимались друг к другу ногами, и его фаллос, находившийся в состоянии сильной эрекции, терся о мой, не менее твердый и непреклонный. Мы, однако, непрерывно меняли позы, дабы как можно крепче прильнуть друг к другу всем телом, и целовали, обнимали, сжимали, поглаживали и кусали друг друга; и так, стоя на мосту среди сгущающегося тумана, мы, должно быть, походили на две проклятые души, обреченные на вечные муки.

Десница Времени замерла; и мы, наверное, продолжали бы распалать друг в друге неистовство желания до тех пор, пока совершенно не лишились бы чувств, — ибо оба находились на грани безумия, — если бы не одно пустячное событие.

Запоздалый кеб, изнуренный дневным трудом, медленно тащился восвояси. Кучер спал на козлах. Бедная, измученная кляча, голова которой свисала чуть ли не до колен, тоже дремала; может быть, ей снился никем не прерываемый отдых, свежескошенное сено и сочные цветущие пастбища ее юности. Даже монотонный стук колес нагонял сонливость своим мягким, равномерным, медлительным похрапыванием.

«Идемте ко мне, — сказал Телени тихим, дрожащим от волнения голосом. — Идемте в мою постель», — добавил он мягким,

приглушенным, умоляющим тоном любовника, желающего, чтобы его поняли без слов. В ответ я лишь сжал его руки.

«Вы пойдете?»

«Да», — прошептал я едва слышно.

Этот тихий, нечленораздельный звук был горячим выдохом безумного желания; это односложное слово выразило радостное согласие выполнить его пылкую просьбу.

Он окликнул проезжающего мимо извозчика, однако разбудить его и объяснить, чего мы от него хотим, удалось не сразу.

Садясь в кеб, первое, о чем я подумал, было то, что через несколько минут Телени станет моим. Эта мысль подействовала на мои нервы как электрический ток, и я задрожал с головы до ног.

Мне пришлось проговорить слова: «Телени станет моим», — чтобы поверить в это. Он, казалось, понял беззвучное шевеление моих губ, потому что сжал мою голову руками и принялся осыпать меня поцелуями. Затем, словно почувствовав угрызения совести, он спросил: «Вы не раскаиваетесь?»

«Как я могу?»

«И вы будете моим, и только моим?»

«Я никогда не принадлежал никакому другому мужчине и никогда не буду».

«Вы всегда будете любить меня?»

«Вечно».

«Мы отдадимся друг другу, это и будет нашей клятвой», — сказал он.

Он обнял меня и прижал к груди. Я обхватил его руками. В мерцающем, тусклом свете каретных фонарей я видел, как его глаза загорелись огнем безумия. Губы его, пересохшие от долго подавляемой чувственной жажды, от скрываемого желания обладания, с болью и мукой потянулись к моим губам. Мы снова вбирали существо друг друга через поцелуй, поцелуй еще более крепкий, — если такое возможно, — нежели предыдущий. Какой это был поцелуй!

Плоть, кровь, мозг и эта неясная, неуловимая часть нашего существа, казалось, слились воедино в этом не поддающемся описанию поцелуе.

Поцелуй — нечто большее, чем первый чувственный контакт двух тел; это выдох двух влюбленных душ.

Но преступный поцелуй, которому долгое время сопротивляешься, с которым борешься, а значит, жаждешь его, — нечто большее; он сладок, как запретный плод; это горячие угли на губах, это факел, что ярко пылает и превращает кровь в расплавленный свинец или горячую ртуть.

Поцелуй Телени сильно возбуждал меня, и я нёбом чувствовал его чудесный вкус. Нужна ли была клятва, когда мы отдавались друг другу в таком поцелуе? Клятва — это обещание губ, которое может быть забыто и часто забывается, а такой поцелуй остается с вами до самой смерти.

В то время как наши губы сливались в поцелуе, рука Телени медленно и незаметно расстегнула мои брюки и, крадучись, проскользнула в прорезь, инстинктивно отодвигая все преграды, пока не добралась до твердого, напряженного, ноющего фаллоса, который пылал, словно раскаленный уголь.

Это сжатие было нежным, как прикосновение ребенка, искусным, как ласки шлюхи, и сильным, как хватка фехтовальщика. Едва он дотронулся до меня, я вспомнил слова графини.

Как все мы знаем, некоторые люди привлекают нас больше, чем другие. И более того, тогда как одни притягивают, другие отталкивают нас. От пальцев Телени — по крайней мере, мне так казалось — исходили мягкие, гипнотические, приносящие наслаждение флюиды. Даже простое прикосновение к его коже заставляло меня трепетать от восторга.

Моя рука робко последовала примеру его руки, и, должен признаться, удовольствие, которое я испытал, лаская его, было необыкновенным.

Наши пальцы почти не двигали кожу пенисов, но нервы были столь напряжены, возбуждение достигло такой степени, а семенные каналы наполнились настолько, что мы почувствовали, как семя переливается через край. На мгновение меня пронзила острая боль где-то у корня пениса, вернее, внутри самого ствола, после чего сок жизни начал медленно-медленно вытекать из семенных желез; он проник в округлое расширение уретры, поднялся по узкой трубке, подобно тому, как ртуть поднимается в столбике термометра, а вернее, как раскаленная лава — в кратере вулкана.

Наконец он достиг вершины; отверстие широко раскрылось, крошечные губки раздвинулись, и, из них начала сочиться густая, вязкая, жемчужного цвета жидкость. Это был не стремительный поток, а огромные, появляющиеся через некоторые промежутки времени горячие капли.

С каждой каплей, вытекающей из тела, меня все сильнее охватывала дрожь, которая становилась просто невыносимой; она началась с кончиков пальцев рук и ног и, особенно, с самых глубоких клеток мозга. Костный мозг в позвоночнике и во всех костях, казалось, растопился, и когда другие потоки — либо циркулирующие с кровью, либо стремительно несущиеся по нервным волокнам, — встречались в фаллосе (этом маленьком орудии из мышц и кровяных сосудов), меня била ужасная дрожь; это была конвульсия, уничтожающая и дух, и плоть, это были трепет и восторг, которые в большей или меньшей степени испытал каждый, — дрожь, зачастую слишком сильная, чтобы быть приятной.

Прижавшись друг к другу, мы только и могли, что попытаться заглушить свои стоны, когда горячие капли последовали одна за другой.

Изнemoжение, последовавшее за чрезмерным нервным напряжением, наступило как раз тогда, когда коляска остановилась у дверей дома Телени — тех самых дверей, в которые я так недавно истоптленно колотил кулаком.

Мы с трудом вылезли из коляски, но едва дверь за нами затворилась, мы уже снова целовались и ласкали друг друга с удвоенной энергией.

Несколько минут спустя, почувствовав, что наше желание слишком сильно, чтобы выдерживать его далее, он сказал: «Идемте, зачём мешкать и терять драгоценное время здесь, в темноте и холоде?»

«А разве здесь темно и холодно?» — отозвался я.

Он нежно меня поцеловал.

«Вы мой свет во мраке; вы мой огонь среди стужи; рядом с вами ледяные пустыни полюса были бы для меня райским садом», — продолжал я.

Мы стали ощупью подниматься по темной лестнице, ибо я не позволил ему зажечь спичку. Я шел, постоянно наталкиваясь на

него, — не то чтобы я ничего не видел, просто я был одурманен желанием, как пьяный — вином.

Скоро мы были в его квартире. Оказавшись в маленькой, тускло освещенной передней, Рене раскрыл для меня свои объятия.

«Добро пожаловать! — сказал он. — Пусть этот дом навеки станет твоим. — И тихим, звучащим как незнакомая музыка голосом добавил: — Тело мое истомилось по тебе, душа моей души, жизнь моей жизни!»

Он едва успел произнести эти слова, как мы принялись любовно ласкать друг друга. Так мы гладили друг друга несколько минут. Затем он спросил: «Вы знаете, что я ждал вас сегодня?»

«Ждали меня?»

«Да. Я знал, что рано или поздно вы станете моим. Более того, я чувствовал, что вы придете сегодня».

«Как это?»

«У меня было предчувствие».

«Разве я не пришел?»

«Мне следовало сделать то, что собирались сделать вы, когда я вас встретил, ибо жизнь без вас была бы невыносима».

«Что?! Утопиться?!»

«Нет, не совсем так: река слишком холодна и угрюма, а я слишком большой сибарит. Нет, мне просто следовало заснуть вечным сном и в грезах видеть вас в этой комнате, приготовленной для вашего прихода, куда не ступала нога ни одного мужчины».

Говоря это, он открыл дверь маленькой комнаты и провел меня внутрь. Меня сразу же приветствовал сильный, насыщенный запах гелиотропа.

Это была весьма необычная комната; стены ее покрывала какая-то теплая, мягкая стеганая материя белого цвета, вся усеянная матовыми серебряными пуговицами; на полу лежали белые кудрявые шкурки молодых барашков; посреди комнаты стояла широкая тахта, на которой раскинулась шкура огромного белого медведя. Этот единственный предмет мебели озаряла своим бледным мерцающим светом старинная серебряная лампа

очевидно, привезенная из какого-то византийского храма или восточной синагоги; все же этого света было достаточно, чтобы

осветить ослепительную белизну этого святилища Приапа, жрецами которого мы являлись.

«Я знаю, — сказал он, втаскивая меня внутрь, — я знаю, что белый — ваш любимый цвет, что он очень идет к вашему смуглому лицу, так что комната убрана для вас и только для вас. Никакой другой смертный никогда не ступит сюда». Произнося эти слова, Рене ловко сорвал с меня одежды, — я в его руках был словно спящий ребенок или человек, находящийся под гипнозом.

В мгновение ока я оказался не только совершенно наг но и распластан на шкуре медведя, в то время как Рене, стоя напротив, смотрел на меня вождедеющими, голодными глазами.

Я всем телом ощущал его жадные взгляды; они проникали в мой мозг, и у меня начала кружиться голова; они пронизывали сердце и распяли кровь, заставляя ее быстрее течь по артериям; они стрелами мчались по венам, и фаллос откинул свой капюшон и яростно поднял голову, так что запутанная сеть вен на его теле, казалось, была готова лопнуть.

Рене потрогал меня везде, после чего стал прижиматься губами ко всем частям тела, осыпая поцелуями грудь, руки, ноги, бедра; добравшись до промежности, он с восхищением прижался лицом к густым вьющимся волосам, что растут там в изобилии.

Рене задрожал от восторга, почувствовав кудрявые волосы на своем лице и шее; потом, взяв в руку мой фаллос, прижался к нему губами. Это, казалось, наэлектризовало его, и тогда кончик, а затем и вся головка скрылась у него во рту.

Я не мог оставаться спокойным. Я сжал руками кудрявую надушенную голову; по всему телу пробежала дрожь; нервы были напряжены до предела; ощущение было столь острым, что я едва не обезумел.

Весь ствол оказался у Рене во рту, а головка касалась нёба; язык его то ли расширился, то ли утолстился и щекотал меня повсюду. То любимый жадно сосал меня, то слегка покусывал, то кусал. Я кричал, я молил его остановиться. Я больше не мог выдерживать такое напряжение; это меня убивало. Если бы это продлилось еще хотя бы мгновение, я бы лишился чувств. Он был глух к моим мольбам и безжалостен. Перед глазами у меня мелькали молнии; по телу неслась огненная лавина.

«Хватит... остановитесь, хватит!» — стонал я. Нервы мои были натянуты, как струны; я затрепетал; подошвы ног, казалось, просверлили. Я извивался, я бился в конвульсиях.

Рука, ласкавшая мои яички, скользнула мне под зад, и палец проник в отверстие. Казалось, спереди я был мужчиной, а сзади — женщиной, поскольку удовольствие чувствовал в обоих местах.

Мое возбуждение достигло высшей точки. Голова закружилась; тело расслабилось; обжигающее молоко жизни снова начало подниматься, словно огненный сок; кипящая кровь ударила в голову, приводя меня в исступление. Я был измучен; я лишился чувств от удовольствия и упал на Рене безжизненной массой.

Несколько минут спустя я вновь стал самим собой — я жаждал занять его место и вернуть ему только что подаренные ласки.

Я сорвал с его тела одежды, так что очень скоро он был также наг, как и я. Какое это было наслаждение — чувствовать его кожу всем телом с головы до ног! Только что испытанное удовольствие лишь усилило мою страсть, и, сжав друг друга в объятиях, мы катались по полу, терлись друг о друга, ползая и извиваясь, как два возбужденных кота, доводя друг друга до исступления.

Но губы мои жаждали прикоснуться к фаллосу — органу, который мог бы послужить моделью для огромного идола, установленного в храме Приапа или над дверями помпейских борделей, вот только при виде этого бескрылого бога большинство мужчин — а многие так и поступали — оставили бы женщин ради любви своих братьев. Он был большим, но не имел ослиных пропорций; он был толстым и круглым, хотя к концу слегка сужался; головка — плод из плоти и крови, похожий на маленький абрикос, — выглядела мясистой, округлой и аппетитной.

Я пожирал его голодными глазами; я держал его в руках, я целовал его; я чувствовал его нежную гладкую кожу губами; от этого он, движимый внутренними силами, начинал шевелиться. Мой язык проворно щекотал головку, стараясь вонзиться меж этих крошечных розовых губок, которые набухли от любви и, раскрывшись, выпустили крошечную капельку искрящейся росы. Я лизал крайнюю плоть и с жадностью сосал его весь. Телени поставил его вертикально, а я старался крепко сжимать его губами; он поднимал его все выше и выше и касался моего нёба; фаллос почти доставал до моего горла, и я

чувствовал, как он подрагивает, проживая свою собственную жизнь. Я двигался все быстрее, быстрее, быстрее. Телени яростно сжал мою голову; каждый нерв его трепетал.

«Ваш рот пылает; вы высасываете мой мозг! Перестаньте, перестаньте! Все тело горит! Я больше... не могу! Не могу — это слишком!»

Он крепко сдавил мою голову, чтобы заставить меня остановиться, но я лишь сильнее сжал фаллос губами, щеками, языком; движения мои все убыстрялись и убыстрялись; еще несколько ударов — и я почувствовал, как Телени задрожал всем телом, словно с ним случился приступ головокружения. Он вздыхал, он стонал, он кричал. Струя теплой, похожей на мыло, острой на вкус жидкости ударила мне в рот. Голова закружилась; удовольствие было столь пронзительным, что граничило с болью.

«Хватит, хватит!» — стонал он слабо, закрыв глаза и задыхаясь.

Но я обезумел от мысли, что теперь Рене действительно стал моим, что я пил обжигающий пенящийся сок его тела, настоящий эликсир жизни.

Его руки судорожно схватили мою голову. Затем на него нашло оцепенение; бурное распутство совершенно истощило его.

Я испытал почти такое же сильное наслаждение. Обезумев, я сосал его жадно, ненасытно и тем самым вызвал обильное семяизвержение; в то же время маленькие капли такой же жидкости, что я поглощал, медленно и болезненно вытекали из моего собственного тела. После этого нервы наши расслабились, и мы в изнеможении упали друг на друга.

Короткий отдых — не могу сказать, насколько короткий, ибо напряжение не измеряется степенной поступью Времени, — и я снова почувствовал, как его обессилевший пенис пробуждается ото сна и прижимается к моему лицу. Очевидно, он пытался найти мой рот, подобно тому, как наевшийся досыта, но жадный ребенок даже во сне крепко сжимает сосок матери просто ради удовольствия держать его во рту.

Я прижался к нему губами. Словно молодой петух, проснувшийся на рассвете, который вытягивает шею и громко кричит, фаллос вытянул свою головку и ударился о мои теплые, набухшие губы.

Как только я взял его в рот, Телени перевернулся и встал в такую же позицию, какую я занимал по отношению к нему, то есть его рот был на уровне моего паха, но только я лежал на спине, а он стоял надо мной.

Он принялся целовать мой жезл. Он перебирал густые волосы, растущие вокруг него, он гладил меня по ягодицам, но главное — он как-то по-особенному ласкал мои яички, что доставляло мне неописуемое наслаждение.

Его руки настолько усиливали удовольствие, даримое его губами и фаллосом, что скоро я был вне себя от возбуждения.

Наши тела слились в одну трепещущую сладострастную массу, но, хотя оба увеличивали скорость движений, мы настолько обезумели от страсти, что при таком нервном напряжении семенные железы отказывались выполнять свою работу.

Зря мы трудились. Рассудок внезапно покинул меня; запекшаяся кровь тщетно пыталась просочиться наружу; казалось, она водоворотом кружилась у меня в глазах и вызывала звон в ушах. Я бился в припадке эротического экстаза — в припадке безумия.

Мозг мой, казалось, был трепанирован, позвоночник — распилен надвое. Тем не менее я все быстрее и быстрее сосал фаллос; я втягивал его в себя как сосок; я пытался опустошить его и ощущал, как тот пульсирует, дрожит и трепещет. Внезапно врата семявыводящих каналов открылись, и из адского пламени мы, осыпаемые дождем обжигающих искр, поднялись на восхитительно спокойный, сладостный Олимп.

Отдохнув несколько минут, я приподнялся на локте и стал наслаждаться удивительной красотой моего любовника. Он был настоящим образцом чувственной красоты; грудь у него была широкая и сильная, руки — мускулистые; на самом деле я никогда не видел столь могучего и в то же время хрупкого сложения; на нем не только не было ни капли жира, но даже лишней плоти. Он состоял из нервов, мускулов и жил. Именно крепкие, гибкие суставы делали его движения свободными, легкими и грациозными, что так характерно для семейства кошачьих, от которых в нем была еще и гибкость; ибо, когда он прижимался к вам, казалось, он обвивается вокруг вас, как змея. Кожа у него была жемчужной белизны, тогда как волосы на всех частях тела, кроме головы, были черными.

Телени открыл глаза, потянулся ко мне, взял мою руку, поцеловал и затем укусил меня сзади за шею; после этого он осыпал мою спину поцелуями, которые следовали друг за другом с такой частотой, что казалось, на меня пролился дождь из лепестков розы, осыпавшихся с какого-то пышного цветка.

Потом он добрался до двух мясистых долей, раздвинул их руками и вонзил язык в то отверстие, куда так недавно засовывал палец. Это ощущение было для меня новым и волнующим. Прodelав это, он встал и протянул руку, чтобы помочь мне подняться.

«А теперь, — сказал он, — давайте пройдем в соседнюю комнату и посмотрим, нет ли там чего-нибудь поесть; думаю, нам необходимо подкрепиться, хотя, возможно, было бы неплохо принять ванну, перед тем как сесть за стол и поужинать. Как вы думаете?»

«Это может причинить вам беспокойство».

В ответ он проводил меня в комнату наподобие кельи, всю уставленную папоротниками и перьевидными пальмами, в которую — как он показал — солнечные лучи проникали через световой люк, расположенный сверху.

«Это нечто вроде теплицы и ванной комнаты, которые должны быть в любом жилом помещении. Я слишком беден, чтобы иметь и то, и другое, однако эта каморка достаточно велика, чтобы я мог совершить омоложение, и мои растения вроде бы прекрасно растут в этой теплой и влажной среде».

«Но это королевская ванная комната!»

«Нет, нет, — улыбнулся он, — это ванная комната артиста».

Мы немедленно погрузились в теплую воду, наполненную ароматом гелиотропа; и так приятно было лежать в объятиях друг друга после недавних излишеств.

«Я мог бы пробыть здесь всю ночь, — произнес он задумчиво. Такое наслаждение — гладить вас в этой теплой воде. Но вы, должно быть, голодны, так что лучше нам пойти и удовлетворить внутренние потребности».

Мы вышли из ванны и ненадолго укутались в *reignoirs*^[79] из махровой материи.

«Пойдемте, я провожу вас в столовую», — сказал он.

Я медлил, поглядывая то на свою, то на его наготу. Он улыбнулся и поцеловал меня.

«Ведь вам не холодно?»

«Нет, но...»

«Ну, тогда не бойтесь — в доме никого нет. Все спят в своих квартирах; кроме того, все окна плотно закрыты и все шторы задернуты»

Он потащил меня в соседнюю комнату, устланную толстыми, мягкими, шелковистыми коврами неяркого красного цвета. В центре комнаты висела необычного вида лампа, имеющая форму звезды; такие светильники даже в наши дни — правоверные зажигают в пятницу вечером.

Мы сели на мягкие подушки тахты напротив одного из тех арабских столов черного дерева, что полностью инкрустированы крашеной слоновой костью и перламутром.

«Не могу предложить вам пира, хотя и ожидал вас, однако надеюсь, еды здесь достаточно, чтобы утолить ваш голод».

Там были сочные канкальские устрицы — немного, но зато огромных размеров, запыленная бутылка сотерна, *pate de foie*^[80], сильно пахнувший перигорскими трюфелями, куропатка с паприкой, то есть венгерским карри, салат, приготовленный из огромного пьемонтского трюфеля, нарезанного тонко, как стружка, и бутылка изысканного сухого хереса.

Все эти деликатесы были поданы в старинной изящной посуде из синего дельфтского и савонского фаянса, поскольку Телени уже слышал о моем увлечении старинной майоликой.

Затем подошла очередь кушанья из померанца, бананов и ананасов, приправленных мараскином и посыпанных сахарной пудрой. Это была пряная, терпкая, сладкая смесь, соединившая в себе вкус и аромат всех этих изысканных фруктов.

Запив блюда искрящимся шампанским, мы стали потягивать ароматный обжигающий кофе мокко из крошечных чашечек. Затем он зажег наргиле — турецкий кальян, и мы время от времени пускали клубы благоухающего дыма латакии, вдыхая его изо рта друг друга во время жадных поцелуев.

Дым и винные пары поднимались к нашим головам, вновь пробуждая чувственность и скоро наши губы уже сжимали мундштуки более толстые, нежели янтарный мундштук турецкой трубки.

Наши головы снова скрылись меж бедер друг друга. И опять мы слились в одно тело, наслаждаясь друг другом. Жажда новых ласк, новых ощущений — более острых, опьяняющих сладострастных, стремясь доставить удовольствие не только себе, но и другому. Так что очень скоро мы сделались жертвами губительной страсти, и лишь невнятные звуки свидетельствовали о том, что она достигла высшей точки; наконец, ни живы ни мертвы, мы упали друг на друга — единая масса трепещущей плоти.

После получасового отдыха и кубка арака, кюрасо и пунша с виски, приправленного множеством острых бодрящих специй, наши губы снова прижались друг к другу.

Прикосновения его влажных губ к моим губам были столь легкими, что я почти не чувствовал их; они пробудили во мне страстное желание прижаться к ним сильнее; кончик языка Рене продолжал дразнить мой язык, на миг врываясь в мой рот и поспешно выскальзывая. Тем временем его руки легко скользили по самым нежным частям моего тела, как мягкий летний ветерок скользит по гладкой поверхности воды, и я чувствовал, как моя кожа дрожит от наслаждения.

Я лежал на тахте на подушках и, таким образом, находился на одной высоте с Телени. Он быстро положил мои ноги себе на плечи и, склонив голову, принялся сначала целовать отверстие в моем заду, а потом вонзать в него свой острый язык, даря мне неопишное удовольствие. Обильно увлажнив отверстие и таким образом подготовив его, он попытался вжать в него головку фаллоса, но, хотя давил изо всех сил, ему никак не удавалось проникнуть внутрь.

«Дайте я немного увлажню его, и тогда он войдет легче».

Я снова взял его фаллос в рот. Язык ловко пробежался по окружности. Я всосал его почти по самый корень, ощущал, что он готов на маленькую шалость, ибо был твердым, тугим и резвым. «А теперь давайте вместе испытаем то наслаждение, получать которое научили нас сами боги», — сказал я.

Кончиками пальцев я до предела раздвинул края своей потаенной ямки. Она широко раскрылась, дабы принять огромное орудие, расположившееся у входа.

Рене вновь стал вдавливать в него головку; крошечные губки просунулись в отверстие; кончик пробил себе дорогу внутрь, но

мясистая плоть выпирала по краям и не давала жезлу продвигаться дальше.

«Вам не больно? — спросил он. — Может быть, лучше отложить это до следующего раза?»

«О, нет! Такое счастье чувствовать, как ваша плоть входит в мою».

Он давил мягко, но настойчиво; сильные мышцы ануса расслабились; головка полностью вошла; кожа натянулась до такой степени, что по трескающимся краям отверстия появились крошечные рубиновые капельки крови; но, несмотря на все эти терзания удовольствие, которое я испытывал, было значительно сильнее боли.

Телени оказался зажат настолько крепко, что не мог ни продвинуть свое орудие глубже, ни вынуть его; он попытался вдавить его, но почувствовал себя так, словно его подвергли обрезанию. На мгновение он остановился, спросил, не очень ли мне больно и, получив отрицательный ответ, вонзил фаллос со всей силой.

Рубикон был перейден; ствол начал потихоньку входить; Телени мог приступить к приятной работе. Скоро весь пенис оказался внутри; боль, терзавшая меня, утихла, наслаждение же все росло и росло. Я ощущал, как внутри меня двигается маленький бог; казалось, он щекотал самую мою сущность; Рене протолкнул его весь в меня, до самого корня; я чувствовал, как его волосы ударяются о мои, а его яички нежно об меня трутся.

Затем я увидел, что его прекрасные глаза пристально смотрят на меня. Какими же бездонными были эти глаза! Словно небо или луна, они, казалось, отражали бесконечность. Никогда больше я не увижу глаз, горящих такой пылкой любовью и таких томных. Его взгляд действовал на меня как гипноз; он лишал меня рассудка и даже больше — он превращал острую боль в наслаждение.

Я был в состоянии исступленного восторга; нервы мои напряглись и подергивались. Почувствовав себя крепко стиснутым, Телени задрожал и заскрежетал зубами; он не мог перенести столь сильного потрясения; он протянул руки и схватил меня за плечи, впившись в мою плоть ногтями; он пытался двигаться, но был так сильно зажат и сдавлен, что никак не мог протиснуться глубже. Силы покидали его, и он едва держался на ногах.

В тот момент, когда он попытался сделать еще один толчок, я изо всех сил сжал его жезл, и мощнейшая струя горячим гейзером вырвалась из него и потекла в меня, словно жгучий, разъедающий яд; она, казалось, запалила мою кровь и превратила ее в некий пьянящий, возбуждающий алкогольный напиток. Дыхание Рене было частым и судорожным, его душили всхлипы; он совершенно выбился из сил.

«Я умираю! — с трудом выдавил он из себя; грудь его вздымалась от волнения. — Это слишком». И он без чувств упал в мои объятия.

Полчаса спустя он проснулся и сразу же принялся восторженно целовать меня; глаза его светились нежностью и благодарностью.

«Вы дали мне почувствовать то, чего я не испытывал никогда прежде».

«Я тоже не испытывал ничего подобного», — улыбнулся я.

«Я действительно не знал, в раю нахожусь или в аду. Я совершенно потерял рассудок».

Он замолчал и взглянул на меня.

«Как я люблю вас, мой Камиль! Я безумно люблю вас с того самого момента, как увидел».

Я рассказал ему о том, как страдал, пытаюсь побороть свою любовь к нему, как его образ преследовал меня днем и ночью и как, наконец, я счастлив.

«Теперь вы должны занять мое место. Вы должны дать мне почувствовать то, что испытали сами. Вы будете активны, я — пассивен; но нам нужно попробовать другую позу, потому что после такого переутомления стоять очень тяжело».

«И что я должен делать? Видите ли, я новичок».

«Сядьте там, — ответил он, указывая на табурет, сделанный специально для этой цели, — я сяду на вас в позе наездника, а вы насадите меня так, как если бы я был женщиной. Этот способ столь по душе женщинам, что они прибегают к нему при малейшей возможности. Моя мать каталась верхом на джентльмене прямо у меня на глазах. Я был в гостинной, когда к ней заглянул друг и, если бы меня отослали, могли бы возникнуть подозрения, так что меня убедили, что я — несносный мальчишка, и поставили в угол лицом к стене. Мать сказала, что, если я стану плакать или повернусь, она отправит меня в постель, но если я буду хорошим мальчиком, она даст мне пирога. Минуту или две я вел себя послушно, но, услышав необычное

шуршание и громкое пыхтение, я обернулся и увидел то, чего в то время понять не мог, но что стало ясно много лет спустя».

Он вздохнул, пожал плечами, улыбнулся и добавил: «Ну ладно, садитесь сюда».

Я сделал, как меня просили. Сначала Рене встал на колени, чтобы прочесть молитву Приапу, целовать который было более приятно, нежели изуродованные подагрой пальцы ног старого Папы Римского; омыв и пощекотав маленького бога языком, Рене сел на меня верхом. Он потерял девственность давно, поэтому мой жезл вошел в него намного легче, чем его — в меня, да и такой боли, какую испытал сам, я ему не причинил, хотя мое оружие весьма велико.

Он раскрыл отверстие, головка вошла, он слегка продвинулся, фаллос наполовину оказался внутри; Телени приподнялся и снова опустился; после нескольких толчков в его тело погрузился весь разбухший ствол. Насладившись полностью, Телени обвил руками мою шею, обнял меня и поцеловал.

«Вы жалеете о том, что отдались мне?» — спросил он, судорожно сжимая меня, словно боясь потерять.

Мой пенис, как будто желал дать собственный ответ, встрепенулся в его теле. Я пристально посмотрел ему в глаза. «Думаете, лежать на илистом дне реки было бы приятнее?»

Он вздрогнул, поцеловал меня и со страстью проговорил: «Как вы можете думать сейчас о таких ужасных вещах? Это богохульство перед мизийским богом».

И он искусно и ловко начал приапические скачки; с иноходи он перешел на рысь, затем на галоп, все быстрее и быстрее приподнимаясь на кончиках пальцев ног и опускаясь. При каждом движении он извивался и изгибался, и я чувствовал себя так, словно меня втягивают, сжимают, выкачивают и высасывают одновременно.

Нервное напряжение было сильным. Сердце стучало так, что я с трудом дышал. Все артерии готовы были лопнуть. Кожу иссушил жар; вместо крови по венам тек медленный огонь.

Но Рене продолжал двигаться все быстрее. Я корчился в сладостных муках. Я таял, но он не останавливался ни на минуту, пока не выкачал из меня всю животворную влагу до последней капли. Перед глазами все плыло. Я чувствовал, как полузакрылись мои отяжелевшие веки; невыносимая сладостная смесь боли и

наслаждения пронзала тело и разрывала душу; и тут все во мне утихло. Телени сжал меня в объятиях, и я лишился чувств, а он целовал мои холодные, безжизненные губы.

— Наутро события прошедшей ночи казались прекрасным сном.

— Однако вы, вероятно, чувствовали недомогание после многочисленных...

— Недомогание? Вовсе нет. Более того, я испытывал «несказанный, бурный восторг» влюбленного жаворонка, «непознавшего печали пресыщения». До сих пор наслаждение, даримое женщинами, действовало мне на нервы. В действительности оно было «чем-то, что скрывает истинное желание». Теперь страсть переполняла сердце и разум — приятная гармония всех чувств.

Мир, который до сих пор казался мне таким мрачным, таким холодным, таким пустынным, превратился в истинный рай; воздух — несмотря на то, что барометр значительно упал, — был свеж, прозрачен и сладок; солнце — круглый, начищенный медный диск, больше похожий на зад краснокожего индейца, нежели на лучезарное лицо Аполлона, — было для меня чудом; даже густой, тяжелый туман, нагнавший сумерки в три часа пополудни, казался мне всего лишь дымкой, которая скрыла все недостатки и сделала природу прекрасной, а дом — таким милым и уютным. Такова сила воображения.

Вы смеетесь?! Увы! Дон-Кихот был не единственным, кто принимал ветряные мельницы за великанов, а трактирщиц — за принцесс. Если ваш неповоротливый, твердолобый лавочник никогда не теряет голову настолько, чтобы перепутать яблоки с картофелем, если ваш бакалейщик никогда не превращает ад в рай, а рай в ад, — что ж, они нормальные люди, взвешивающие все на прекрасно сбалансированных весах разума. Попробуйте упрятать их в ореховую скорлупу и посмотрите, будут ли они считать себя правителями мира. В отличие от Гамлета^[81] они всегда видят то, что есть на самом деле. Я никогда таким не был. Впрочем, ведь мой отец умер, будучи безумным.

Как бы то ни было, эта непреодолимая тоска, это отвращение к жизни теперь совершенно исчезли. Я был весел, радостен, счастлив. Телени был моим любовником, я был его любовником.

Я совершенно не стыдился своего преступления; мне хотелось объявить об этом на весь мир. Впервые в жизни я понял, что влюбленные могут быть настолько глупы, чтобы сплести свои

инициалы. Мне хотелось вырезать его имя на стволах деревьев, чтобы птицы, увидев его, щебетали его с рассвета до заката, чтобы ветерок шептал его шелестящей листве леса. Мне хотелось писать его на покрытом галькой берегу, чтобы сам океан узнал о моей любви к Телени и вечно повторял его имя.

— Однако же я думал, что наутро, когда опьянение прошло, вы содрогнулись при мысли о том, что вашим любовником был мужчина.

— Но почему? Разве я совершил преступление против природы, когда моя собственная природа таким образом обрела покой и счастье? Если я был таким, каким был, то виной тому моя кровь, а не я. Кто вырастил крапиву в моем саду? Не я. Она росла там сама по себе со времен моего детства. Я начал чувствовать её кровожадные укусы задолго до того, как понял, к чему это приведет. Разве я виноват в том, что, когда пытался обуздать свою страсть, чаша весов с разумом оказалась слишком легкой, чтобы уравновесить чувственность? Моя ли вина, что я не смог успокоить свои бушующие чувства? Судьба, словно Яго^[82], ясно дала понять, что если я хочу обречь себя на муки ада, то могу сделать это более изящно, нежели утопиться. Я подчинился судьбе и перехитрил свое счастье.

Тем не менее я никогда не говорил, как Яго: «Добродетель — пустяк!». Нет, добродетель — сладкий вкус персика; порок — крошечная капелька синильной кислоты — его восхитительный привкус. Без любого из них жизнь была бы пресной.

— Однако же я бы подумал, что, не будучи приученным к содомии со школьных лет, вы почувствовали отвращение из-за того, что позволили какому-то мужчине насладиться вашим телом.

— Отвращение? Спросите девственницу, сожалеет ли она о том, что отдала невинность тому, кого она безумно любит и кто отвечает ей тем же. Она потеряла сокровище, которое нельзя вернуть за все богатства Голконды^[83]; она больше не является тем, что принято называть чистой, непорочной лилией; и, если она не обладает змеиным коварством, общество заклеймит ее позором; развратники будут бросать на неё плотоядные взоры, а целомудренные с презрением отвернутся от нее. Но разве она раскаивается в том, что отдалась во имя любви — единственного, ради чего стоит жить? Нет, И я сожалел не более. Пусть «холодные головы и равнодушные сердца» покарают меня своим гневом, если им угодно.

На следующий день, когда мы встретились снова, все следы усталости исчезли. Мы бросились друг к другу в объятия и стали осыпать друг друга поцелуями, ибо ничто не стимулирует любовь так, как короткая разлука. Что делает брачные узы невыносимыми? Слишком близкие отношения, низменные заботы и обыденность. Юная невеста, должно быть, действительно любит, если не испытывает разочарования, глядя на только что проснувшегося и переставшего громко храпеть супруга, помятого, небритого, в подтяжках и комнатных туфлях, слыша, как он прочищает горло и отхаркивается, — ибо все мужчины отхаркиваются, даже те, кто не позволяют себе других неприятных звуков.

Так же и мужчина должен любить по-настоящему, дабы не почувствовать, что внутри у него все опускается, когда через несколько дней после свадьбы обнаруживает, что промежность его невесты плотно перевязана отвратительными кровавыми лохмотьями. Почему природа не создала нас такими же, как птицы, или лучше, как мошки, чтобы жить всего один летний день — долгий день любви?

В тот вечер Телени превзошел самого себя в игре на рояле; и, когда дамы перестали махать крошечными платками и забрасывать его цветами, он незаметно ускользнул от толпы поздравляющих его почитателей и пришел ко мне; я ждал его в коляске у дверей театра; мы отправились к нему домой. Ту ночь я провел с ним; это не была ночь спокойного сна, это была ночь пьянящего блаженства.

Мы как верные жрецы греческого бога совершили семь обильных возлияний Приапу, ибо семь — мистическое, каббалистическое, счастливое число; и утром с трудом оторвались друг от друга, клянясь в вечной любви и верности. Но, увы, разве есть что-то постоянное в этом вечно меняющемся мире, кроме разве что вечного сна в вечную ночь.

— А что же ваша мать?

— Она почувствовала, что во мне произошли большие перемены. Теперь я вовсе не был раздражительным и желчным, словно старая дева, которая нигде не может обрести покоя; я стал уравновешенным и добродушным. Она приписывала эти перемены принимаемым мною тонизирующим средствам, совершенно не догадываясь о действительной природе этих средств. Позднее она решила, что у меня, вероятно, появилась *liaison*^[84], но не вмешивалась в мою личную

жизнь; она знала, пришла пора моих юношеских увлечений, и дала мне полную свободу действий.

— Что ж, вы счастливчик.

— Да, но абсолютное счастье не может длиться долго. Широко распахнутые двери ада ожидают нас прямо за порогом рая; один шаг — и мы из неземного света попадаем в ужасную тьму. В моей пестрой жизни так бывало всегда. Через две недели после памятной ночи невыносимых мук и несказанных наслаждений я совершенно неожиданно из счастливейшего человека превратился в несчастнейшего.

Однажды утром, выйдя к завтраку, я обнаружил на столе записку, доставленную почтальоном накануне вечером. Я никогда не получал писем дома, поскольку ни с кем в переписке не состоял, а деловая корреспонденция всегда приходила в контору. Почерк был мне незнаком. «Должно быть, это какой-нибудь досужий торговец, желающий меня умаслить», — подумал я. Наконец я вскрыл конверт. В нем оказалась карточка с двумя строками без адреса и подписи.

— И что?

— Вы когда-нибудь по ошибке клали руку на гальваническую батарею с высоким напряжением, когда по пальцам бьет так, на мгновение вы лишаетесь рассудка? Если да, то вы хотя бы смутно можете представить, какой эффект произвела эта записка на мои нервы. Я был потрясен. Прочитав эти несколько слов, я больше ничего не видел — комната поплыла у меня перед глазами.

— Но что же в ней было такого, что настолько вас напугало?

— Всего лишь несколько резких неприятных слов, которые навсегда врезались мне в память: «Коль вы не бросите своего любовника Т., вас заклеят как *encule*^[85]».

Эти ужасные, низкие, нагло грубые анонимные угрозы обрушились на меня столь неожиданно, что, как говорят итальянцы, они были как гром в яркий солнечный день.

Совершенно не подозревая о содержимом, я беспечно вскрыл конверт в присутствии матери; но, едва прочитав записку, я был настолько убит, что у меня не было сил удержать этот крошечный листок бумаги.

Руки у меня дрожали как осиновый лист, меня всего трясло; я был охвачен ужасом и сгорал от стыда.

Кровь отлила от щек, губы стали холодными и безжизненными, на лбу выступил ледяной пот; я чувствовал, как белею, и знал, что мои щеки приобретают мертвенно-бледный, серовато-синий оттенок.

Тем не менее я старался справиться с волнением. Я поднес ко рту ложечку с кофе, но, как только она коснулась моих губ, меня затошнило и едва не вырвало. Качка и тряска в шторм не могла бы вызвать столь ужасного приступа тошноты, как тот, от которого тогда корчилось мое тело. И даже Макбет, увидев призрак убитого Банко, не мог бы испугаться сильнее, чем я.

Что мне было делать? Позволить, чтобы меня на весь свет объявили содомитом, или покинуть человека, который был мне дороже самой жизни? Нет, лучше смерть, чем то или другое.

— Но вы только что сказали, что хотели бы, чтобы весь мир знал о вашей любви к пианисту.

— Да, признаю, хотел и не отрицаю этого, но вам когда-нибудь удавалось разобраться в противоречивой человеческой душе?

— Кроме того, вы же не считали содомию преступлением?

— Нет; разве этим я причинил зло обществу?

— Тогда почему вы так испугались?

— Одна дама во время приема гостей спросила своего маленького трехлетнего сынишку, который и говорить-то толком еще не умел, где его папа.

«В своей комнате», — сказал он.

«А что он делает?» — поинтересовалась неосмотрительная мать.

«Он делает пук-пук», — невинно ответил сорванец дискантом, достаточно громким, чтобы его слышали все присутствующие.

Вы представляете себе чувства матери и жены, когда через несколько минут ее муж вошел в комнату? Бедняга рассказывал мне, что счел себя чуть ли не опозоренным, когда жена, краснея, поведала ему об опрометчивости их ребенка. А разве он совершил преступление?

Найдется ли человек, который хотя бы раз в жизни не испытал бы полного удовлетворения от того, что испортил воздух, или, как звукоподражательно выразился ребенок, сделал «пук-пук»? Тогда чего же здесь стыдиться? Никакого преступления перед природой в этом нет.

Дело в том, что мы стали такими сладкоречивыми, такими утонченными, что сочли бы мадам Эглантайн, несмотря на ее царственные манеры, судомойкой. Мы стали столь сдержанными и чопорными, что скоро каждому члену парламента, для того чтобы ему позволили занять свое место, придется предоставлять свидетельство о нравственности от священника или учителя воскресной школы. Приличия должны быть соблюдены любой ценой; велеречивые редакторы — завистливые боги, и гнев их неукротим, ибо он приносит хороший доход, поскольку добропорядочные люди желают знать, чем занимаются их грешные собратья.

— Кто же написал вам эту записку?

— Кто? Я ломал над этим голову, и у меня возникло несколько смутных догадок, каждая из которых была также неосызаема и ужасна, как смерть Мильтона; каждая грозила вонзить в меня смертоносное жало. Например, я даже воображал, что это Телени решил проверить силу моей любви к нему.

— Это была графиня, не так ли?

— Я тоже так думал. Телени нельзя было любить наполовину, а влюбленная до безумия женщина способна на все. Однако маловероятно, чтобы дама воспользовалась таким оружием; к тому же она была в отъезде. Нет, это не была и не могла быть графиня. Но тогда кто же? Все, и никто.

Несколько дней терзания не покидали меня ни на миг, и временами мне казалось, что я схожу с ума. Нервозность моя возросла до такой степени, что я боялся выходить из дома, думал, что могу встретиться с автором этой гнусной записки.

Казалось, я, как Каин, нес печать своего преступления на лбу. Я видел презрительную усмешку на лице каждого, кто глядел на меня. Указующий перст был направлен на меня; голос, достаточно громкий, чтобы его слышали все, шептал: «Содомит!»

Направляясь в контору, я услышал, что за мною кто-то идет. Я пошел быстрее; преследователь прибавил шаг. Я почти перешел на бег. Внезапно мне на плечо легла рука. От страха я едва не лишился чувств. В тот момент я ожидал услышать ужасные слова: «Именем закона, вы арестованы, содомит!»

Я вздрагивал от скрипа двери; вид письма приводил меня в ужас. Испытывал ли я угрызения совести? Нет, это был страх, малодушный

страх, а не раскаяние. И разве содомита не могут приговорить к пожизненному заключению?

Вы, вероятно, считаете меня трусом, но ведь даже самый храбрый человек может без страха смотреть только в лицо явному врагу. Мысль о том, что таинственная рука неизвестного врага занесена над тобою и всегда готова нанести смертельный удар, невыносима. Сегодня вы человек с незапятнанной репутацией, а завтра — одно слово, произнесенное против вас на улице нанятым негодяем, один высокопарный абзац в газете, написанный кем-нибудь из современных *bravi*^[86] прессы — и ваше честное имя навсегда опорочено.

— А что же ваша мать?

— Когда я открывал письмо, она была занята чем-то другим. Она заметила мою бледность лишь через несколько минут. Я сказал, что мне нездоровится, и, увидев, что меня тошнит, мать мне поверила; на самом деле, она испугалась, что я подхватил какую-то болезнь.

— А Телени? Что сказал он?

— В тот день я не пошел к нему; я отправил ему записку, что встречусь с ним завтра.

Какой ужасной была эта ночь! Я старался как можно дольше не ложиться спать, ибо боялся сна. Наконец, усталый и измученный, я разделся и лег в постель; но постель, казалось, была наэлектризована, поскольку мои нервы начали дергаться и по телу побежали мурашки.

Я был в смятении. Некоторое время я ворочался; затем, опасаясь, что сойду с ума, я встал, прокрался в столовую, достал бутылку коньяка и вернулся в спальню. Выпив почти полстакана, я снова лег спать.

Непривычный к столь крепким напиткам, я заснул; но разве это был сон? Я проснулся среди ночи; мне приснилось, что Кэтрин, наша служанка, обвинила меня в том, что я ее убил, и меня собирались судить.

Я встал, налил себе еще стакан спиртного и снова погрузился в забытие.

На следующий день я вновь отправил Телени записку, в которой говорилось, что я не смогу с ним встретиться, хотя мне очень хотелось его увидеть. Но через день, поняв, что я опять не приду к нему, он сам нанес мне визит.

Физические и душевные изменения, произошедшие со мною, очень его удивили, и он подумал, что его оклеветал какой-нибудь общий приятель; чтобы разубедить его, я — после настойчивых расспросов — вынул гнусное письмо, до которого боялся дотрагиваться, как до гадюки, и отдал ему.

Хотя подобные вещи были для него более привычными, чем для меня, лицо его стало хмурым и задумчивым; он даже побледнел. Однако, поразмыслив немного, он принялся изучать бумагу, на которой были написаны эти ужасные слова; затем он поднес к носу карточку и конверт и понюхал их. Лицо его сразу же повеселело.

«Я знаю, я знаю, вам нечего бояться! Они пахнут розовым маслом! — кричал он. — Я знаю, кто это».

«Кто?»

«Ну неужели же вы не догадываетесь?»

«Графиня?»

Телени нахмурился: «Откуда вы о ней знаете?»

Я все ему рассказал. Когда я закончил, он заключил меня в объятия и принялся целовать.

«Я всеми способами пытался забыть вас, Камиль; и вы видите, как мало мне это удалось. Графиня сейчас далеко, и больше мы не увидимся».

Когда он произнес эти слова, мой взгляд упал на изящное кольцо с желтым бриллиантом — лунным камнем, — которое он носил на мизинце.

«Это женское кольцо, — сказал я. — Она вам его подарила?».

Он не ответил.

«Возьмете вместо него вот это?» Кольцо, которое я ему протянул, было со старинной камеей тончайшей работы, обрамленной бриллиантами. Но главным его достоинством было то, что камея изображала голову Антиноя.

«Но это же бесценная вещь, — сказал он и стал рассматривать кольцо. Потом он сжал мою голову руками и принялся покрывать лицо поцелуями. — Действительно для меня бесценная, потому что похожа на вас».

Я рассмеялся.

«Почему вы смеетесь?» — спросил он изумленно.

«Потому что это ваши черты лица», — ответил я.

«Возможно, у нас схожи не только пристрастия, но и внешность. Кто знает, может быть, вы — мое doppelgander^[87]? Тогда, горе одному из нас!»

«Почему?»

«В нашей стране говорят, что человек не должен встречаться со своим alter ego; это приносит несчастье или одному из них, или обоим. — При этих словах он вздрогнул и затем добавил с улыбкой: — Вы же знаете, я суеверен».

«Как бы то ни было, — отозвался я, — если вдруг несчастье разлучит нас, пусть это кольцо, как кольцо королевы-девственницы, будет вашим посланником^[88]. Отправьте его мне, и, клянусь, ничто не сможет удержать меня вдали от вас».

Кольцо было у него на пальце, а сам он был в моих объятиях. Мы скрепили наш обет поцелуем.

Он стал шептать слова любви тихим, сладким, убаюкивающим голосом, похожим на далекое эхо звуков, услышанных в полузабытом экстатическом сне. Они поднялись в мой мозг; как пузырьки шипучего пьянящего любовного напитка. Даже сейчас они звенят у меня в ушах. Более того, когда я вспоминаю их, я чувствую, как все мое тело начинает трепетать от сладострастия и в крови разгорается огонь неутолимого желания, которое Рене всегда вызывал во мне.

Он сидел рядом со мной, так же близко, как сейчас сидите вы, и его плечо прижималось к моему, точно как ваше.

Сначала он положил руку на мою руку, но сделал это так нежно, что я почти не почувствовал; затем его пальцы стали медленно сжимать в замок мои пальцы — вот так; ему, казалось, доставляло удовольствие овладевать мною дюйм за дюймом.

Потом он одной рукой обвил меня за талию, а другой — обнял за шею и стал кончиками пальцев щекотать и гладить ее, вызывая во мне трепет наслаждения. При этом наши щеки слегка соприкасались, и это соприкосновение — возможно, оттого, то оно было столь легким, вызвало резонанс во всем моем теле, причиняя нервам, находящимся у лона чувств и страстей, резкую, но весьма приятную боль. Наши рты теперь прижимались друг к другу, но Рене не целовал меня; его губы просто дразнили, словно для того, чтобы заставить меня еще острее осознать наше духовное родство.

Нервное напряжение, которое я переживал все последние дни, поспособствовало моему еще более легкому и быстрому возбуждению. Я жаждал испытать то удовольствие, что охлаждает кровь и успокаивает ум, но Телени, похоже, хотелось продлить мое напряжение и довести меня до такой степени чувственного опьянения, которое граничит с безумием.

Наконец, когда мы оба не могли больше выносить такого возбуждения, мы сорвали с себя одежду и нагие катались по полу, извиваясь, как две змеи, и стараясь ощутить тело друг друга как можно полнее. У меня было такое чувство, что поры моей кожи стали крошечными губками, вытянувшимися, чтобы целовать его.

«Сожмите меня, обнимите меня... крепче... еще крепче, чтобы я мог насладиться вашим телом!»

Мой жезл, твердый, как кусок железа, проскользнул меж его ног и, почувствовав собственный трепет, начал увлажняться, выпустив несколько крошечных вязких капель.

Увидев мои муки, Рене наконец пожалел меня. Он склонился к моему фаллосу и принялся целовать его.

Однако же я хотел не получить лишь частичное удовольствие и испытать волнующее наслаждение в одиночку. Мы поменяли позу, и в мгновение ока у меня во рту оказался такой же предмет, какой так восхитительно ласкал Рене.

Вскоре хлынул поток молока, едкого, как сок смоковницы, истекающего словно прямо из головного и костного мозга, и вместе с ним по венам и артериям потек обжигающий огонь; нервы мои дрожали так, словно по ним пропустили электрический ток.

Наконец, когда последняя капля семенной жидкости была поглощена, пароксизм удовольствия — это сладострастное иступление — начал ослабевать, и я почувствовал себя полностью разбитым и уничтоженным. Затем последовало приятное состояние оцепенения, и мои глаза закрылись на несколько минут счастливого забытья.

Придя в чувство, я снова увидел отвратительную анонимную записку. Я устроился в объятиях Телени, словно ища у него за щиты, столь гнусна была правда даже в такой момент.

«Но вы так и не сказали мне, кто написал эти ужасные слова»

«Кто? Да генеральский сын, конечно».

«Что?! Брайанкорт?»

«Кто же еще. Никто другой не имел ни малейшего представления о нашей любви. Я уверен, что Брайанкорт следил за нами. Кроме того, взгляните, — Рене взял бумажный лист, — не желая писать на гербовой бумаге и, вероятно, не имея под рукой ничего другого, он написал на карточке, аккуратно вырезанной из листа рисовальной бумаги. Кто, кроме художника, мог такое сделать? Приняв слишком тщательные меры предосторожности, мы иногда выдаем себя. К тому же понюхайте ее. Брайанкорт настолько пропитан розовым маслом, что все, к чему он прикасается, начинает им пахнуть».

«Да, вы правы», — задумчиво произнес я.

«Кроме всего прочего, это на него похоже; не то чтобы он был злобным...»

«Вы любите его!» — сказал я, ощутив укол ревности, и схватил Рене за руку.

«Нет, не люблю; я просто к нему справедлив. Вы же знаете его с детства и должны признать, что он не такой уж дурной человек, не так ли?»

«Нет, он просто сумасшедший».

«Сумасшедший? Что ж, может быть, немного более сумасшедший, чем все остальные», — улыбнулся мой друг.

«Что?! Вы считаете, что все люди — сумасшедшие?»

«Я знаю только одного нормального человека — моего сапожника. Он сходит с ума только раз в неделю — в понедельник, когда здорово напивается».

«Давайте больше не будем говорить о безумии. Мой отец умер, сойдя с ума, и, полагаю, что рано или поздно...»

«Вам следует знать, — перебил меня Телени, — что Брайанкорт давно влюблен в вас».

«В меня?»

«Да, но ему кажется, что он вам не нравится».

«Никогда не испытывал к нему большой любви».

«Я обдумал все это, и мне кажется, что он хотел бы заполучить нас обоих, чтобы мы стали чем-то вроде троицы любви и блаженства».

«И вы думаете, он хотел добиться своего таким способом?»

«В любви и в войне все хитрости хороши; а он, возможно, подобно иезуитам, считает, что «цель оправдывает средства». В

общем, выбросите это письмо из головы, пусть оно будет просто кошмаром в темную зимнюю ночь».

И, взяв гнусный листок бумаги, он положил его на пылающие уголья; бумага затрещала и стала коробиться, и тут неожиданно вырвался язык пламени и охватил ее полностью. Через мгновение от нее осталось лишь нечто маленькое черное и сморщенное, и по этому «чему-то» гонялись друг за другом крошечные огненные змейки и, догнав, проглатывали свою жертву.

Потом над потрескивающими дровами взвился дымок и исчез в каминной трубе, как маленький чертенок.

Мы нежно обнялись, сидя обнаженными на низкой тахте напротив камина.

«Кажется, она нас пугала? Надеюсь, Брайанкорт никогда не встанет между нами».

«Мы не будем обращать на него внимания, — улыбнулся мой друг и, взяв мой и свой фаллосы, сжал их. — В Италии это самое действенное магическое средство против дурного глаза. К тому же уверен, что к этому времени он сам давно уже забыл о нас обоих и даже о том, что написал эту записку».

«Почему?»

«Потому что он нашел нового любовника».

«Кого, офицера спаги^[89]?»

«Нет, молодого араба. Мы в любом случае узнаем это по изображению на картине, которую он собирается писать. Только недавно он мечтал о паре к трем Грациям, которые, как он считает, представляют собой мистическую лесбийскую троицу».

Спустя несколько дней мы встретили Брайанкорта в артистическом фойе в опере. Увидев нас, он отвернулся и попытался сделать вид, что не заметил нас. Я поступил бы так же.

«Нет — сказал Телени, идемте поговорим с ним и все выясним. Никогда не выказывайте ни малейшего страха в таких ситуациях. Когда вы смело глядите врагу в глаза, вы уже наполовину побеждаете его». И он направился к Брайанкورتу, таща меня за собой.

«Так-так, — произнес Телени, протягивал руку, — что с вами случилось? Мы не виделись вот уже несколько дней».

«Конечно, — отозвался тот, — новые друзья заставляют нас забывать о старых?».

«Как и новые картины заставляют забывать о старых. Кстати, что вы пишете на этот раз?»

«О, это нечто великолепное! Картина, которая будет иметь невиданный успех».

«Так что же это за картина?»

«Иисус Христос».

«Иисус Христос?»

«Да, когда я увидел Ахмета, я начал постигать Спасителя. Вы тоже полюбили бы Его, — продолжал он, — если бы увидели эти темные гипнотические глаза с длинными, черными, как смоль, ресницами».

«Полюбил бы кого, — осведомился Телени, — Ахмета или Христа?»

«Христа, конечно! — промолвил Брайанкорт, пожав плеча ми. — Вы смогли бы понять, какое влияние Он, должно быть, оказывал на толпу. Моему сирийцу нет нужды разговаривать с вами, он поднимает глаза, смотрит на вас, и вы уже знаете, о чем он думает. Христос точно так же никогда не бросал слов на ветер, лицемерно разглагольствуя перед массами. Он писал на песке и мог «обратить мир к закону». Как я говорил, я напишу Ахмета в образе Спасителя, а вас, — обратился он к Телени, — в образе Иоанна, Его любимого апостола; ведь в Библии ясно говорится и постоянно повторяется, что Он любил этого апостола».

«И как же вы его изобразите?»

«Христос стоит, прижимая к себе Иоанна, который обнял Его и склонил голову на грудь своему другу. Разумеется, во взгляде, в позе апостола должно быть что-то мягкое, нежное, женственное; у него должны быть ваши мистические лиловые глаза и ваш чувственный рот. К их ногам припала одна из множества Марий-прелюбодеек, но Христос и “другой” — как скромно величает себя Иоанн, словно он — возлюбленная своего Учителя, — смотрят на нее задумчиво, с презрением и жалостью».

«А поймут ли зрители, что вы имеете в виду?»

«Любой, у кого есть хоть какие-то чувства, поймет. Кроме того чтобы передать мою мысль яснее, я напишу к картине пару — “Сократ — греческий Христос — с Алсибиадом, своим любимым учеником”. Женщина будет Ксантиппой^[90] — И, повернувшись ко мне, он

продолжил: — Но вы должны обещать, что будете позировать мне; я хочу написать с вас Алсибиада».

«Хорошо, — отозвался Телени, — но с одним условием».

«Назовите его».

«Зачем вы написали Камиллю ту записку?»

«Какую записку?»

«Да перестаньте, не морочьте нам голову!»

«Откуда вы узнали, что это я ее написал?»

«Как и Задиг^[91], я заметил следы загнутых уголков страницы».

«Ну что ж, раз уж вы знаете, что это я, скажу откровенно, что сделал это из ревности».

«Кого же вы ревновали?»

«Обоих. Да-да, вам может быть смешно, но это правда. — Он повернулся ко мне: — Я знаю вас с тех самых пор, когда мы оба только научились ходить, и мне так и не удалось добиться от вас этого, — и он щелкнул ногтем большого пальца о верхние зубы. — А он, — художник указал на Телени, — приходит, видит и побеждает. Во всяком случае, на какое-то время. А пока я не держу на вас зла, и вы, уверен, на меня не сердитесь за эту глупую угрозу».

«Вы не представляете, на какие скверные дни и бессонные ночи вы меня обрекли».

«Неужели? Мне очень жаль; простите меня. Вы же знаете, я сумасшедший — все так говорят! — воскликнул он, схватив за руки нас обоих. — Теперь мы друзья, и вы должны прийти ко мне на симпозион».

«Когда он будет?» — спросил Телени.

«На будущей неделе во вторник. — Художник повернулся ко мне: — Я представлю вас множеству приятных людей, которые с большим удовольствием познакомились бы с вами, и многие из них давно удивляются, почему вы до сих пор не с нами».

Неделя пролетела быстро. Радость скоро заставила меня забыть ужасное волнение, которое я испытал из-за записки Брайанкорта. За несколько дней до намеченного празднества Телени спросил меня:

«Как нам одеться на симпозион?»

«Как одеться? А что — это будет маскарад?»

«У нас у всех есть маленькие слабости. Некоторые любят солдат, некоторые — матросов; одним нравятся канатоходцы, другим денди.

Есть мужчины, которые хотя и влюблены в представителей своего пола, но те привлекают их только в женских платьях. Пословица “L’habit ne fait pas le moine”^[92] не всегда верна; даже самцы птиц демонстрируют яркое оперение, чтобы очаровать своих подруг».

«А что бы вы хотели, чтобы надел я, ибо вы единственный, кому я хочу угодить?» — спросил я.

«Ничего».

«О! Но...»

«Вам будет неудобно, если вас увидят обнаженным?»

«Конечно».

«Ну, тогда облегающий костюм для езды на велосипеде; он лучше всего подчеркивает фигуру».

«Прекрасно. А в чем будете вы?»

«Я всегда буду одеваться так же, как вы».

Вечером назначенного дня мы поехали в студию художника. Снаружи она освещалась очень тускло, так что было почти совсем темно. Телени трижды постучал, и после паузы Брайанкорт сам отворил нам.

Несмотря на все недостатки генеральского сына, он обладал манерами французского аристократа, поэтому его поведение было безупречным; его величественная походка могла бы украсить двор grand Monarque^[93]; его учтивость не знала себе равных — в общем, он обладал всеми теми «маленькими милыми умениями» которые, как говорит Стерн^[94], «вызывают желание полюбить с первого взгляда». Он уже собирался провести нас внутрь, но Телени остановил его.

«Подождите, — сказал он, — нельзя ли Камиллю сначала взглянуть на ваш гарем? Видите ли, он всего лишь неопит в вере Приапа. Я — его первый любовник».

«Да, я знаю, — перебил Брайанкорт, вздохнув, — и не могу искренне пожелать, чтобы вы были первым и последним».

«И поскольку он не привык к подобным зрелищам, то ему захочется сбежать, как Иосиф сбежал от госпожи Потифар»

«Прекрасно, вас не затруднит пройти сюда?»

И с этими словами он повел нас по тускло освещенному проходу, приведшему к винтовой лестнице, поднявшись по которой мы оказались на своего рода балконе, сделанном из старинной арабской toucharaby^[95], привезенной его отцом из Туниса или Алжира.

«Отсюда можно все увидеть, не будучи замеченными; так что прощайте пока, но ненадолго — скоро подадут ужин».

Я вошел в эту своеобразную лоджию и посмотрел вниз. На мгновение я был если не ослеплен, то, по крайней мере, ошарашен. Словно из повседневной жизни меня перенесли в волшебное, сказочное королевство. Тысяча светильников различной формы наполняла комнату ярким, но в то же время матовым светом. Тонкие восковые свечи поддерживали японские журавли; свечи горели и в массивных бронзовых и серебряных подсвечниках, добытых при разграблении испанских алтарей; там были восьмиугольные светильники и светильники в форме звезды из мавританских мечетей или восточных синагог, витиеватые железные светильники с причудливыми узорами; люстры из переливающегося стекла отражались в голландской позолоте канделябров и в подсвечниках из кастельдюранской майолики.

Хотя комната была очень большой, стены полностью покрывали картины самого похотливого характера; генеральский сын был очень богат и рисовал для собственного удовольствия. Многие картины представляли собой лишь наполовину готовые наброски, ибо его пылкое, но легкомысленное воображение не могло задерживаться долго на одном предмете, как не мог и его изобретательный талант удовлетворяться одной и той же манерой письма.

Там было несколько копий, сделанных им со сладострастной помпейской энкаустики^[96], в которых он старался разгадать секреты утраченного искусства. Одни картины были тщательно выписаны едкими красками, что было столь характерно для Леонардо да Винчи^[97], другие больше походили на пастели Греза^[98] или отличались изысканной нежностью красочных нюансов Ватто. На некоторых картинах тела имели золотистый оттенок, типичный для венецианской школы, а иные...

— Прошу вас, заканчивайте это отступление о картинах Брайанкорта и расскажите мне о сценах более реальных.

— Хорошо. На старых выцветших дамастных диванах, на огромных подушках, сделанных из епитрахилей, благоговейной рукой расшитых золотом и серебром, на мягких персидских и сирийских тахтах, на львиных и леопардовых шкурах, на тьюфях, покрытых шкурами различных представителей семейства кошачьих, по двое или

по трое лежали молодые красивые мужчины; почти все они были обнажены и имели самые похотливые позы, которые воображение нарисовать не может и которые можно увидеть лишь в мужских борделях распутной Испании или развратного Востока.

— Должно быть, из той клетки, в которую вас заперли, вам действительно открылось редкое зрелище; полагаю, ваши петушки запели с таким вожделением, что голым парням внизу, вероятно, грозила большая опасность промокнуть под ливнем вашей святой воды; вы ведь, наверное, с восторгом теребили разбрызгиватели друг друга.

— Рама стояла картины, ведь, как я уже сказал, студия представляла собой музей непристойного искусства, достойного Содомы или Вавилона. Картины, статуи, изделия из бронзы, гипсовые слепки, являвшиеся либо шедеврами пафосского искусства, либо имевшие форму фаллоса, виднелись среди бархатистых, нежных шелков густых тонов, среди сверкающего хрусталя и похожей на драгоценные камни финифти, среди золотистого фарфора и опаловой майолики, перемежавшихся с ятаганами и турецкими саблями с филигранными золотыми и серебряными рукоятками и ножнами, усыпанными кораллами и бирюзой, а также другими, более блестящими драгоценными камнями.

В огромных китайских вазах росли роскошные папоротники, изящные индийские пальмы, вьющиеся и ползучие растения; рядом с ними в вазах из севрского фарфора стояли коварного вида цветы из лесов Америки и пышные травы Нила, а сверху то и дело проливался ливень красных и розовых махровых роз, чей пьянящий аромат смешивался с запахом розового — масла, белыми облачками поднимающегося от курильниц и жаровен.

От благоухающего раскаленного воздуха, от звуков сдавленных вздохов и стонов наслаждения, от звонких, страстных поцелуев, выражающих неуголимое юношеское желание, у меня закружилась голова, и кровь закипела при виде постоянно меняющихся похотливых поз, демонстрирующих исступленное распутство, пытающееся ублажить себя и добиться еще более волнующего сладострастия, при взгляде на мужчин, потерявших сознание от избытка чувств, и на их обнаженные бедра, покрытые молочно-белой спермой и рубиновыми каплями крови.

— Должно быть, это было восхитительное зрелище.

— Да, но тогда мне казалось, что я нахожусь в каких-то буйно разросшихся джунглях, где все прекрасное приводит к немедленной смерти; где кишашие, ярко окрашенные ядовитые змеи похожи на пестрые букеты цветов, где ароматные цветы деревьев роняют капли огненного яда.

Здесь все радовало глаз и горячило кровь; серебристые полосы на темно-зеленом атласе и серебряный узор на гладких зеленоватых листьях водяных лилий казались лишь слизистыми следами животворной силы человека, в одном случае, и отвратительной рептилии — во втором.

«Взгляните, там есть и женщины», — обратился я к Телени.

«Нет, — ответил он, — женщин на наши празднества не допускают».

«Но посмотрите на ту пару. Видите того обнаженного мужчину, что просунул руку под юбку девушки?»

«Они оба мужчины».

«Что?! И эта рыжеволосая с ослепительным цветом лица — тоже? Как, разве это не любовница виконта де Понгримо?»

«Да, это Венера... как все ее называют; а виконт вон там, в углу; но Венера... — мужчина!»

Я в изумлении уставился на него. Тот, кого я принял за женщину, действительно был похож на прекрасную бронзовую статую — гладкую и блестящую, как японский слепок *a cire perdue*^[99] — с глазурированной головкой парижской кокотки.

Каков бы ни был пол этого странного существа, на нем или на ней было облегающее переливающееся атласное платье — золотистое на свету и темно-зеленое в тени, шелковые перчатки и чулки того же цвета, которые настолько плотно облегли полные руки и удивительно красивые ноги, что они казались такими же ровными и твердыми, как руки и ноги бронзовой статуи.

«А вон та, другая, с черными локонами *assroche coeurs*^[100], в темно-синем бархатном платье, с открытыми руками и плечами? Эта прелестная женщина тоже — мужчина?»

«Да, он итальянец, маркиз, как вы можете догадаться по гербу на его веере. Более того, он принадлежит к одному из древнейших

римских родов. Однако взгляните туда — Брайанкорт подает нам знаки спуститься. Идемте».

«Нет, нет! — воскликнул я, прижимаясь к Телени. — Лучше давайте уйдем».

Однако зрелище так разгорячило мне кровь, что я стоял и, словно жена Лота^[101], с вожделением смотрел на то, что происходило внизу.

«Я сделаю так, как вы пожелаете, но думаю, что, если мы сейчас уйдем, вы после будете об этом сожалеть. Чего вы боитесь? Разве я не с вами? Никто не может разлучить нас. Мы весь вечер будем вместе, ибо это не обычный бал, куда мужья привозят жен, чтобы тех обнимал первый же, кому захочется пригласить их на вальс. Кроме того, вид всех этих излишеств лишь придаст пикантность нашему наслаждению»

«Ладно идемте, — сказал я, вставая. — Подождите. Тот мужчина в жемчужно-сером восточном одеянии, вероятно, сириец; у него прекрасные миндалевидные глаза».

«Да, это Ахмет-эфенди»

«С кем он разговаривает? Это не отец Брайанкорта?»

«Он самый. Генерал иногда бывает на приемах сына в качестве пассивного гостя. Ну что, идем?»

«Еще одну минуту. Скажите мне, кто этот человек с горящими глазами? Он кажется настоящим воплощением похоти; вероятно, он непревзойденный мастер распутства. Его лицо мне знакомо, но я никак не могу вспомнить, где я его видел».

«Этот молодой человек, растратив состояние в самом необузданном разврате и при этом не нанеся никакого вреда своему здоровью, поступил на службу в спаги, дабы посмотреть, какие новые удовольствия может доставить ему Алжир. Этот человек настоящий вулкан. А вот и Брайанкорт».

«Ну что, — сказал Брайанкорт, — вы собираетесь просидеть здесь, в темноте, весь вечер?»

«Камиль смущен», — улыбнулся Телени.

«Тогда наденьте маски», — отозвался художник. Он потащил нас вниз и, прежде чем ввести в зал, вручил по черной бархатной полумаске.

Известие о том, что в соседней комнате ждет ужин, заставило празднество замереть.

Когда мы вошли в студию, вид наших темных костюмов и масок, казалось, привел всех в уныние. Однако вскоре нас окружили несколько молодых людей, которые подошли, чтобы поприветствовать и погладить нас; некоторые из них были старыми знакомыми.

Телени задали несколько вопросов и, узнав его, сразу же сорвали с него маску; но понять, кто я, долгое время никто не мог. Тем временем я с вождением смотрел на промежности стоявших вокруг обнаженных мужчин; у некоторых из них густые кудрявые волосы покрывали живот и бедра. Это необычайное зрелище настолько взволновало меня, что я едва сдерживался, чтобы не дотронуться до этих соблазнительных органов, и, если бы не любовь к Телени, я решился бы на нечто большее, чем просто коснуться их.

Один фаллос — фаллос виконта — вызвал у меня особое восхищение. Он был такого размера, что, если бы римская дама завладела им, она никогда бы не потребовала осла^[102]. Этого фаллоса боялись все шлюхи; говорили, что однажды, будучи за границей, хозяин распорол им женщину, вонзив свое гигантское орудие ей по самую матку и разорвав перегородку между передним и задним отверстиями, так что в результате полученной раны бедняжка умерла.

Его любовник, однако, имел весьма цветущий вид — он был не только искусственно, но от природы весьма румян. Увидев, что я сомневаюсь в его принадлежности к мужскому полу, этот молодой человек поднял свои юбки и продемонстрировал изящный бело-розовый пенис, окруженный массой темно-золотистых волос.

Как раз тогда, когда все умоляли меня сиять маску и я уже был готов уступить, доктор Шарль, обычно называемый Шарлеманем — Карлом Великим, который терся об меня как разгоряченный кот, внезапно схватил меня в объятия и страстно поцеловал.

«Ну, Брайанкорт, — заявил он, — поздравляю вас с новым приобретением. Ничье присутствие не принесло бы мне большего удовольствия, чем присутствие де Грие».

Едва прозвучали эти слова, как проворная рука сорвала с меня маску.

Не менее десяти ртов были готовы меня поцеловать, множество рук ласкало меня; но между мной и ними встал Брайанкорт.

«Сегодня вечером Камиль что-то вроде леденца на торге: разрешается смотреть, но нельзя трогать. У них с Рене все еще

медовый месяц, и этот fete^[103] устроен в их честь и в честь моего нового любовника Ахмета-эфенди. — И, повернувшись, он представил нас молодому человеку, которого собирался изобразить в образе Иисуса Христа. — А теперь давайте ужинать», — добавил художник.

Комната или зал, в который нас проводили, была обставлена как триклиний; вместо стульев там стояли лежа и тахты.

«Друзья мои, — сказал генеральский сын, — ужин весьма скуден, блюд немного, и обилием они не отличаются; еда предназначена скорее для подкрепления сил, нежели для насыщения. Надеюсь все же, что крепкие вина и стимулирующие напитки помогут нам вернуться к нашим усладам с удвоенным пылом».

— Полагаю, однако, что это был ужин, достойный Лукулла?^[104]

— Этого я не заметил. Помню только, что тогда впервые попробовал bouillabaisse^[105] и какой-то сладкий рис со специями, приготовленный по индийскому рецепту} и что и то, и другое показалось мне вкусным.

Телени сидел на тахте рядом со мной, а доктор Шарль был моим ближайшим соседом. Он был крупным, высоким, хорошо сложенным, широкоплечим мужчиной с плавно струящейся бородой, за которую, так же как за имя и габариты, его и прозвали Карлом Великим. Я был удивлен, увидев, что на шее он носит тонкую золотую венецианскую цепочку, на которой, как мне показалось сначала, висел медальон, при ближайшем рассмотрении оказавшийся золотым лавровым венком, усыпанным бриллиантами. Я спросил его, что это — талисман или реликвия?

Он поднялся. «Друзья мои, де Грие, любовником которого я охотно бы стал, спрашивает меня, что это за драгоценность; так как большинство из вас уже задавало мне этот вопрос, я удовлетворю всеобщее любопытство и замолчу об этом навсегда.

Этот лавровый венок, — продолжал он, зажав вещь в пальцах, — награда за заслуги, или вернее, за добродетельность; это мой couronne de rosiere^[106]. Получив медицинское образование и пройдя практику в больнице, я обнаружил, что стал врачом; но чего я никак не мог обнаружить, так это хотя бы одного пациента, который дал бы мне не то что двадцать, а хотя бы одну монету за все проведенное мною лечение. Но однажды доктор N-n, увидев мои мускулистые руки, — руки у него действительно были как у

Геркулеса, — рекомендовал меня как массажиста одной пожилой даме, чье имя я упоминать не буду. Я отправился к этой пожилой даме, которую звали не госпожа Потифар и которая, как только я разделся и закатал рукава, жадно взглянула на мои мышцы и погрузилась в раздумья; позже я решил, что она размышляла над законами пропорции.

Доктор N-п сказал мне, что мышечная слабость нижних конечностей у нее была от колена и ниже. Она же, казалось, полагала, что слабость имела место выше колен. Я был откровенно озадачен и, дабы не ошибиться, принялся растирать ей ноги от ступней до самого верха. Вскоре я заметил, что чем выше я поднимался, тем нежнее она мурлыкала.

Через десять минут я сказал: “Боюсь, я утомил вас; может быть, для первого раза достаточно?”»

«О, — ответила дама, глядя на меня томными глазами старой рыбы, — я могла бы пролежать так целый день. Я уже чувствую такую пользу. В ваших руках сила мужчины и мягкость женщины. Но вы, должно быть, устали, бедняжка! Что вы будете пить — мадеру или сухой херес?”

“Ничего, спасибо”.

“Бокал шампанского с печеньем?”

“Спасибо”.

“Вы должны что-нибудь выпить, О, я знаю — крошечный бокальчик алкермеса из флорентийской Чертозы. Да, думаю, что выпью с вами бокальчик. Растирание уже так мне помогло. — И она нежно пожала мне руку. — Будьте добры, позвоните в колокольчик”.

Я позвонил. Мы выпили по стаканчику алкермеса, принесенного слугой, и я откланялся. Однако она отпустила меня только тогда, когда я заверил ее, что завтра непременно приду.

На следующий день я явился в назначенный час. Сначала дама усадила меня рядом с кроватью, чтобы я немного отдохнул. Она сжимала и нежно гладила мою руку — ту руку, которая, по ее словам, принесла ей столь большую пользу и которая сейчас проведет чудесное лечение. “Только, доктор, добавила она жеманно, боль переместилась выше”.

Я с трудом сдержал улыбку и задался вопросом, какого характера была эта боль.

Я приступил к растиранию. От широкой лодыжки моя рука поднялась к колену и затем стала продвигаться все выше и выше, к явному удовольствию дамы. Когда рука добралась до самого верха ее ног, она нежно промурлыкала: “Да-да, здесь, доктор! Вы попали в цель; как вы умны и как легко можете найти нужное место. Разотрите там все потихоньку. Да, вот так; не выше и не ниже, только, может быть, немного шире движения, немножко ближе к центру, доктор! О, какую пользу приносит мне такое растирание! Я чувствую себя совсем другим человеком — намного моложе и бодрее. Растирайте, доктор, растирайте!” И она принялась с восторгом ворочаться в кровати на манер старой кошки.

Неожиданно она сказала: “Но вы же гипнотизируете меня, доктор! О, какие у вас прекрасные голубые глаза! Я вижу себя как в зеркале в ваших блестящих зрачках”. Она обняла меня за шею и стала тянуть к себе и жадно целовать, вернее, сосать своими толстыми губами, которые показались мне двумя огромными конскими пиявками.

Увидев, что продолжать массаж невозможно, и начиная наконец понимать, какое растирание ей требуется, я раздвинул пучки жестких кудрявых волос, ввел кончик пальца между разбухших губ и принялся щекотать, похлопывать и растирать большой резвый клитор, так что скоро он обильно помочился. Однако это вовсе не успокоило и не удовлетворило даму, наоборот, она возбудилась еще больше; теперь вырваться из ее лап было невозможно. Кроме того, она держала меня за нужную рукоятку и я не мог, как Иосиф, позволить себе убежать и оставить эту вещь у нее в руке.

Чтобы ее успокоить, мне не оставалось ничего другого, как взобраться на нее и применить массаж другого рода, что я и сделал со всем пылом, на какой был способен, хотя, как вы все понимаете, меня никогда не привлекали женщины, тем более не первой свежести. Однако для женщины, для старухи эта дама была не так уж плоха. Губы у нее были полными, мясистыми и пухлыми; сфинктер с годами не расслабился, пещеристая ткань не утратила мышечной силы, ее пожатия были сильными, и удовольствием, ею доставляемым, нельзя было пренебречь. Так что я совершил два возлияния, прежде чем слез с нее; сначала она мурлыкала, потом стала мяукать, а затем перешла на крик, похожий на совиный, так велико было получаемое ею наслаждение.

Не знаю, правда это или нет, но дама сказала, что никогда в жизни не испытывала такого блаженства. В любом случае, я провел превосходное лечение, ибо вскоре она вновь обрела способность ходить. Даже N-n мной гордился. Именно ей и моим рукам я обязан своим местом массажиста».

«Так откуда же взялось украшение?» — спросил я.

«Ах да, об этом я и позабыл. Наступило лето, и даме пришлось оставить город и отправиться на воды, куда я не имел ни малейшего желания ее сопровождать. Она взяла с меня клятву, что во время ее отъезда у меня не будет ни одной женщины. Я, естественно, поклялся с чистой совестью и легким сердцем.

Возвратившись, она вновь заставила меня поклясться, после чего расстегнула мне брюки, вытащила сэра Фаллоса и по всем правилам короновала его как *gosiure*.

Должен сказать, однако, что тот вовсе не возгордился и не зазнался; наоборот, он казался таким ослабшим — возможно, потому, что счел себя недостойным такой чести, — что смиренно повесил голову. Я носил это украшение на часовой цепочке, но меня постоянно спрашивали, что это такое. Я рассказал даме об этом, и она подарила мне эту цепочку и заставила меня носить ее на шее».

Вечеря любви подошла к концу. Пряные возбуждающие блюда, крепкие напитки, веселая беседа снова расшевелили нашу дремлющую страсть. Мало-помалу позы на ложах становились все более вызывающими, шутки — непристойными, песни — похотливыми; веселье стало более шумным, кровь кипела, плоть трепетала от пробудившегося желания. Почти все мужчины были обнажены, все фаллосы — тверды и непреклонны это было настоящее логово разврата.

Один из гостей показал нам, как сделать фонтан Приапа, то есть правильно пить ликеры. Он велел юному Ганимеду тонкой струйкой лить шартрез из серебряного, с длинным носиком кувшина на грудь Брайанкорта. Жидкость сбегала по животу, просачивалась сквозь крошечные завитки угольно-черных, пахнущих розами волос, стекала по фаллосу и попадала в рот мужчины, стоявшего перед ним на коленях. Эти трое были так красивы, композиция — настолько классической, что была сделана фотография со вспышкой.

«Очень мило, — сказал спаги, — но думаю, что могу показать вам кое-что поинтереснее».

«И что же это?» — спросил Брайанкорт.

«То, как в Алжире едят заготовленные впрок финики с фисташками внутри; поскольку на вашем столе есть немного фиников, мы можем попробовать».

Старый генерал крикнул от удовольствия; очевидно, такое развлечение было ему по душе.

Спаги поставил своего любовника на четвереньки так, что голова оказалась ниже зада потом он засунул финики в отверстие ануса и стал их грызть, тогда как его друг выдавливал их из себя; после этого он аккуратно слизал весь сироп, просочившийся наружу и текший тоненькой струйкой по ягодицам.

Все заплодировали, а двое мужчин явно возбуждились — их тараны бодро подняли головы и многозначительно кивали.

«Подождите, не вставайте, — сказал спаги, — я еще не закончил; позвольте мне ввести сюда плод с древа познания».

Он взобрался на своего любовника и, взяв свое орудие в руку, вдавил его в отверстие, где только что были финики; поскольку отверстие было скользким, он одним или двумя толчками полностью погрузил в него фаллос. Офицер не вынимал его ни на дюйм, он лишь терся о ягодицы партнера, член которого вел себя столь неутомно, что принялся колотиться о живот своего хозяина.

«Теперь приступим к пассивным удовольствиям, предназначенным для старости и опытности», — сказал генерал и начал щекотать головку языком, сосать ее и искуснейшим образом гладить ствол пальцами.

Наслаждение пассивного мужчины, казалось, было неопишуемым. Он задышался, он дрожал, веки его были опущены, губы полуоткрыты, лицо подергивалось; казалось, он каждую минуту был готов потерять сознание от переизбытка чувств. Однако же он явно изо всех сил сопротивлялся оргазму, зная, что за границей спаги научился искусству сохранять активность в течение любого количества времени. Время от времени голова пассивного мужчины падала, как будто силы покидали его, но потом он вновь поднимал ее. «Кто-нибудь — мне в рот», — произнес он.

Итальянский маркиз, который сбросил халат и остался лишь в бриллиантовом колье и черных шелковых чулках, уселся верхом на два табурета над старым генералом и принялся удовлетворять просьбу.

При виде этой *tableau vivant*^[107] адской похотливости кипящая кровь ударила нам в головы. Каждый хотел бы испытать то наслаждение, которое получали четверо мужчин. Каждый фаллос скинул капюшон и не только налился кровью, но стал твердым, как железный поршень, и ныл от возбуждения. Все корчились, словно мучимые внутренними судорогами. Сам я, не привыкший к подобным зрелищам, стонал от удовольствия, доведенный до безумия волнующими поцелуями Телени и доктором, который прижимался губами к подошвам моих ног.

Наконец по страстным толчкам спаги, по тому, как энергично сосал генерал, а маркиза самого сосали, мы поняли, что наступил последний момент. Словно через нас всех пропустили электрический ток! «Им хорошо, им хорошо!»- сорвалось у всех с губ.

Все пары слились; партнеры целовались, терлись друг о друга нагими телами, проверяя, какие новые излишества может изобрести их распутство.

Когда наконец спаги вынул вялый орган из зада своего друга, тот упал без чувств на тахту, весь покрытый потом, финиковым сиропом, спермой и слюной.

«Ах, — произнес спаги, спокойно закуривая сигарету — разве что-нибудь можно сравнить с удовольствиями Содомы и Гоморры? Арабы правы. В этом искусстве они наши учителя; там, хотя мужчина не пассивен в зрелые годы, он всегда пассивен в ранней юности и в старости, когда быть активным больше не может. Арабы, в отличие от нас, благодаря долгой практике знают, как продлить это удовольствие до бесконечности. Их орудия не огромны, но увеличиваются до значительных размеров. Они мастера усиливать собственное наслаждение, доставляя удовольствие другим. Они не обливают вас водянистой спермой, а выпускают несколько густых капель, которые обжигают вас, как огонь. А какая у них нежная, гладкая кожа! Что за лава кипит в их жилах! Это не люди, это львы; а как они рычат!»

«Вероятно, вы попробовали их немало?»

«Множество; для этого я и поступил на военную службу и, должен сказать, получил удовольствие. Пожалуй, виконт, ваше орудие

лишь приятно пощекотало бы меня, если бы только вам удалось сохранить ею твердость надолго».

И, указан на широкую бутылку, стоявшую на столе, он добавил:

«Да вон ту бутылку можно было бы легко всадить в меня, и это только доставило бы мне удовольствие».

«Может быть, попробуете?» — раздалось множество голосов.

«Почему бы нет?»

«Нет, лучше не надо», промолвил доктор Шарль, ползавший рядом со мной.

«Почему, что в этом страшного?»

«Это преступление против природы», — улыбнулся врач.

«Вообще-то это будет хуже ебли в зад, это будет бутылка в зад», — проговорил Брайанкорт.

В ответ спаги бросился на край тахты лицом вверх и приподнял зад так, чтобы мы его видели. Двое мужчин подошли и сели по бокам, дабы он мог положить ноги им на плечи; после этого он схватился за свои мясистые, как у старой толстой проститутки, ягодицы и раздвинул их обеими руками. При этом мы отчетливо увидели не только темную разделительную линию, коричневую ареолу и волосы, но и тысячу складок, гребней, вернее, гребнеобразных отростков, и припухлостей вокруг отверстия; судя по ним и по чрезмерно расширенному анусу, то, что он говорил, не было хвастовством.

«Кто сделает милость и слегка увлажнит и смажет края?»

Многим хотелось доставить себе это удовольствие, но выбрали того, кто скромно представился как *maitre de langues*^[108]; «хотя с моим мастерством — добавил он — я вполне мог бы назвать себя профессором фехтования». Этот человек действительно был обременен великим именем, не только потому, что принадлежал к древнему роду, ни разу не замаранному плебейской кровью, но и потому, что прославился на войне, на государственном посту, в литературе и науке. Он опустил на колени перед этой массой плоти, обычно называемой задом, нацелил язык, словно пику, и вонзил его в отверстие насколько мог глубоко; затем, сделав его лопаткой, он принялся искусно размазывать слюну вокруг дырочки.

«Ну вот, — произнес он с гордостью художника, только что закончившего работу, — моя задача выполнена».

Другой мужчина взял бутылку, намазал ее жиром *pate de foie gras* и начал вдавливать ее в отверстие. Поначалу она, казалось, не входила, но когда спаги раздвинул края шире, а мужчина с бутылкой стал вращать и манипулировать ею, вдавливать ее медленно, но настойчиво, она начала наконец продвигаться.

«Ай-ай! — простонал спаги, кусая губы. — Туго идет, но наконец-то она внутри».

«Вам больно?»

«Было немного больно, но теперь все прошло», — и он застонал от удовольствия.

Все складки и припухлости исчезли, и плоть по краям плотно сжимала бутылку.

Лицо спаги выражало смесь резкой боли и похотливости; все его тело напряглось и дрожало, словно по нему пропустили ток высокого напряжения; глаза его полузакрылись, и зрачков почти не было видно; он скрежетал зубами всякий раз, когда бутылка входила немного глубже. Фаллос, который был вялым и безжизненным в минуты, когда спаги испытывал только боль, снова начал приобретать свои полные размеры; затем набухли вены, и нервы напряглись до предела.

«Хотите, чтобы вас поцеловали?» — спросил кто-то, видя, как дрожит его жезл.

«Спасибо, ответил он, — мне и этого достаточно».

«Что вы чувствуете?»

«Острое, но приятное раздражение от задницы до мозга».

На самом деле все его тело билось в конвульсиях, когда бутылка медленно входила внутрь и выходила наружу, разрывая и едва ли не четвертуя его. Вдруг пенис сильно содрогнулся, потом он разбух и стал твердым, крошечные губки раскрылись, и появилась сверкающая капля прозрачной жидкости.

«Быстрее... глубже... глубже... дайте мне почувствовать это!»

Он начал кричать, истерично смеяться, а потом и ржать, как ржет жеребец при виде кобылы. Фаллос выдавал несколько капель густой, вязкой белой спермы.

«Всадите всю... всадите ее всю!» — простонал он слабо.

Рука мужчины, вводящего бутылку, задрожала. Он с силой втолкнул бутылку.

Мы, затаив дыхание, наблюдали за тем, какое наслаждение испытывает спаги, как вдруг в полной тишине, которая воцарялась после каждого солдатского стоны, раздался тихий звон разбивающегося стекла, за которым последовал крик боли распростертого мужчины и крик ужаса его партнера.

Бутылка лопнула; горлышко и часть бутылки выскочили наружу, порезав плотно сжимавшие ее края, остальная часть осталась в анусе.

— Прошло время...

— Естественно, время никогда не останавливается, так что незачем говорить, что оно прошло. Лучше скажите мне, что случилось с бедным спаги.

— Он умер, бедняга! Сначала, имело место общее *sauve qui peut*^[109] из дома Брайанкорта. Доктор Шарль послал за своими инструментами и извлек кусочки стекла; мне говорили, что несчастный молодой человек стоически переносил мучительнейшую боль — у него не вырвалось ни стоны, ни крика; хотя, конечно, лучше бы ему довелось проявить свое мужество в случае более достойном. Операция завершилась, доктор Шарль сказал пострадавшему, что его нужно доставить в больницу, поскольку есть опасение, что может начаться воспаление поврежденных мест кишечника.

«Что?! — сказал спаги. — Отправиться в больницу и выставить себя на посмешище перед всеми санитарками и докторами?! Ни за что!»

«Но, — отозвался его друг, — если вдруг начнется заражение...»

«Со мной все будет кончено?»

«Боюсь, что так».

«А велика ли вероятность того, что будет заражение?»

«Увы, более чем велика».

«И если оно начнется, то что?...»

Доктор Шарль ничего не ответил.

«Исход может быть смертельным?»

«Да».

«Ладно, я подумаю. В любом случае мне нужно домой, то есть на квартиру, чтобы привести в порядок некоторые дела».

Его отвезли домой, а он умолял оставить его на полчаса. Оставшись один, он заперся в комнате, достал револьвер и

застрелился. Причина самоубийства осталась тайной для всех, кроме нас.

Этот и еще один случай, произошедший вскоре, привел нас всех в угнетенное состояние и на некоторое время положил конец симпозионам у Брайанкорта.

— А что за еще один случай?

— Вы, скорее всего, читали о нем; тогда об этом писали все газеты. Пожилой джентльмен, имя которого я совершенно запамятовал, по глупости попался прямо во время акта с солдатом — молодым похотливым новобранцем, недавно приехавшим из провинции. Случай наделал много шума, поскольку джентльмен занимал высокое положение в обществе и, более того, не только имел незапятнанную репутацию, но и был очень религиозен.

— Что?! Вы полагаете, что по-настоящему религиозный человек может предаваться такому пороку?

— Конечно, может. Порок делает нас суеверными; а что есть суеверие, как не устаревшая, давно забытая форма поклонения? Именно грешнику, а не святому, нужен Спаситель, заступник и священник; если вам нечего искупать, на что вам религия? Религия нисколько не сдерживает страсть, которая, хотя и считается преступлением против природы, сидит в нашей природе так глубоко, что разум не в состоянии ни охладить, ни скрыть ее. Так что иезуиты единственные настоящие священники. Они не станут проклинать вас, как делают напыщенные многоречивые диссентеры^[110], но у них найдется, по крайней мере, тысяча средств, облегчающих течение болезней, которые они не могут лечить, — бальзам для каждой терзающейся души.

Но вернемся к нашему рассказу. Когда судья спросил солдата, как мог он так низко пасть и запятнать честь мундира, тот простодушно ответил: «Господин судья, этот джентльмен был очень добр ко мне. К тому же он очень влиятельный человек и обещал мне *avancement dans le corps*!^[111]».

Время шло, и я был счастлив с Телени — и как можно было не быть счастливым с ним, таким красивым, хорошим и умным? Теперь его игра стала столь гениальной и одухотворенной, она была настолько полна жизнерадостности и излучала чувственность, что день ото дня его любили все больше и больше, а дамы влюблялись в него сильнее,

чем когда-либо; но какое мне был до этого дело, разве он не был всецело моим?

— Как! Вы не ревновали?

— Как я мог ревновать, когда он никогда не давал мне ни малейшего повода? У меня был ключ от его дома, и я мог приходить туда в любое время дня и ночи. Если он уезжал из города, неизменно сопровождал его. Нет, я был уверен в его любви, значит, в его верности, как и он был абсолютно уверен во мне.

Впрочем, у него был один серьезный недостаток — как и многим артистам, ему была присуща расточительность. Хотя он и получал достаточно для того, чтобы жить с комфортом, концерты не приносили ему таких доходов, которые позволяли бы вести тот королевский образ жизни, какой он вел. Я часто читал ему по этому поводу нотации, и каждый раз он обещал не бросать денег на ветер, но, увы, в ткань, составлявшую его натуру, были вплетены те же нити, из которых была соткана Манон Леско, любовница моего тезки.

Зная, что он в долгах и что его часто беспокоят назойливые кредиторы, я несколько раз умолял его отдать мне счета, мог оплатить их и дать ему возможность начать новую жизнь. Но он и слышать об этом не хотел.

«Я знаю себя лучше, чем вы, — говорил он, — если я приму вашу помощь хоть раз, то буду принимать ее снова и снова чем все это кончится? Дойдет до того, что вы будете меня содержать».

«Ну и что за беда? — отвечал я. — Думаете, из-за этого я бы любил вас меньше?»

«О, нет! Возможно, вы любили бы меня ещё сильнее за те деньги, которые потратили на меня, ведь сила нашей любви к друзьям часто измеряется тем, сколько мы для них сделали; я, быть может, стал бы любить вас меньше; благодарность — тяжелейшая ноша для человека. Я ваш любовник, это правда, не дайте мне пасть ниже, Камиль, — говорил он с отчаяньем. — Послушайте, с тех пор как я узнал вас, разве я не пытался свести концы с концами? Однажды я, возможно, смогу расплатиться с старыми долгами; не уговаривайте меня больше». И, сжав меня в объятиях, он осыпал меня поцелуями.

Как красив он был в эти минуты! Мне кажется, я вижу, как он лежит на темно-синей атласной подушке, подперев голову рукой,

точно так сейчас лежите вы, ведь у вас так много его грациозных кошачьих повадок.

Мы стали неразлучны, наша любовь, казалось, крепла с каждым днем; в нашем случае нельзя было и «огонь остановить огнём»^[112], наоборот, он им питался и становился все сильнее; так что я больше времени проводил с Телени, чем дома.

Контора отнимала у меня немного времени, и я находился там ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы привести в порядок дела и дать Телени возможность немного помузицировать. Остальное время мы были вместе.

В театре мы сидели в одной ложе, вдвоем или вместе с моей матерью. Ни один из нас, насколько я знаю, не принимал приглашения на прием, если в числе гостей не было другого. Пешие и верховые прогулки или прогулки в кебе мы совершали вместе. Вообще, если бы наш союз был благословлен Церковью, не нашлось бы супругов вернее. И пусть моралист объяснит мне, что дурного мы сделали, пусть растолкует мне законодатель, который применил бы к нам меру наказания, налагаемую на самых злостных преступников, какой вред мы причиняли обществу.

Хотя мы одевались по-разному, но были почти одинакового телосложения, почти одного возраста и имели невероятно схожие пристрастия, так что в конце концов для людей, всегда видевших нас под руку друг с другом, мы стали неразделимы.

Наша дружба чуть ли не стала притчей во языцех, и фраза «Где Рене, там и Камиль» сделалась чем-то вроде поговорки.

— Но вы, который так переживал из-за анонимной записки, неужели вы не боялись, что люди начнут догадываться о реальной природе вашей привязанности?

— Тот страх совершенно исчез. Разве позор бракоразводного процесса мешает неверной жене встречаться с любовником? Разве страх перед неумолимым законом останавливает вора? Счастье убаюкало мое сознание, и оно спокойно спало; кроме того, узнав на собраниях у Брайанкорта, что я-не единственный представитель нашего разлагающегося общества, который живет по-сократовски, и что люди незаурядного ума, обладающие добрым сердцем и тонко чувствующие красоту, были, как и я, содомитами, я успокоился. Не

того мы боимся, что в аду нас ждет ужасная боль, а того, что там мы можем оказаться в низшем обществе.

Дамы, я думаю, начали догадываться, что наши чрезмерно близкие отношения носят любовный характер; и, насколько я слышал, нас прозвали содомскими ангелами, намекая, что эти небесные посланцы не избежали своей судьбы. Но какое мне было дело до того, что какие-то лесбиянки подозревали нас в своих собственных слабостях?

— А что ваша мать?

— Ходили слухи, что она — любовница Рене. Меня они очень забавляли — такая мысль была совершенным абсурдом.

— Но разве она не догадывалась о вашей любви к другу?

— Как вы знаете, муж всегда узнает последним о неверности жены. Произошедшие во мне перемены очень ее удивили. Она даже спросила меня, как случилось, что мне понравился человек, к которому я относился с таким пренебрежением и на которого всегда смотрел свысока.

«Вот видишь, нельзя относиться к людям предвзято и говорить о них, совсем их не зная», — сказала она.

Однако одно обстоятельство заставило мать забыть о Телени.

Юная танцовщица, чье внимание я, видимо, привлек на балемаскараде, — либо я ей понравился, либо она сочла меня лёгкой добычей, — написала мне очень нежное послание и пригласила навестить ее.

Не зная, как отказаться от чести, которую она мне оказала, и в то же время не желая ее обидеть, — а я вообще не терпел пренебрежительного отношения к женщине, — я послал ей огромную корзину цветов и книгу, объясняющую их значение.

Она поняла, что моя любовь отдана кому-то другому, однако в ответ на свой подарок я получил ее большую красивую фотографию. Тогда я навестил ее, чтобы поблагодарить, и вскоре мы стали очень хорошими друзьями, но только друзьями, и ничего больше.

Поскольку письмо и портрет я оставил в своей комнате, мать, которая, естественно, заметила одно, увидела, должно быть, и другое. Поэтому она никогда не придавала значения моей *liaison* с музыкантом.

В ее речах время от времени проскальзывали либо тонкие, либо недвусмысленные намеки на глупость мужчин, которые губят себя из-за *corps de ballet*^[113], или на дурной вкус тех, кто женится на своих и чужих любовницах, но и только.

Она знала, что я сам себе хозяин, поэтому не вмешивалась в мою личную жизнь и предоставляла мне делать то, что я хотел. Если где-то у меня и был *faux mignon*^[114], - тем лучше или тем хуже для меня. Она была рада, что мне доставало такта соблюдать *les convenances*^[115] и не привлекать внимание света. Только сорокапятилетний мужчина, твердо решивший никогда не жениться, может бросить вызов общественному мнению и иметь любовницу напоказ.

К тому же мне пришло на ум, что мать не хочет чтобы я слишком внимательно изучал цель ее частых маленьких путешествий и поэтому предоставляет мне полную свободу действий.

— В то время она была еще молода, не так ли?

— Это зависит от того, какую женщину вы называете молодой. Ей было около тридцати семи или тридцати восьми, и для своих лет она выглядела чрезвычайно молодо. О ней всегда говорили как о прелестной и соблазнительной женщине.

Она была очень красива. Высокая, с великолепными руками и плечами, с гордой посадкой головы, она не могла не привлекать внимания везде, где появлялась. Ее большие глаза неизменно светились невозмутимым спокойствием, нарушить которое не могло ничто; ровные густые брови почти сходились на переносице; черные волосы ниспадали пышными естественными локонами; лоб был низким и широким, нос маленьким и прямым. Все вместе придавало ей величавый вид и делало ее похожей на классическую статую.

Однако прекраснее всего был ее рот: он не только имел идеальные контуры, но его пухлые губы были так похожи на сочные сладкие вишни, что вы жаждали их попробовать. Такой рот, должно быть, сводил с ума мужчин с сильными страстями, и более того, должно быть, действовал на них как любовный напиток, разжигал неукротимый огонь желания даже в самых вялых сердцах. Вообще, редкие брюки не топорщились в присутствии моей матери, несмотря на все усилия их владельцев скрыть отбиваемую в штанах барабанную дробь; а это, я думаю, лучший комплимент женской красоте, ибо он естествен, а не сентиментален.

В ее манерах была та непринужденность, а в походке — та степенность, которые характерны не только для древнеримских аристократок, но присущи итальянским крестьянкам и французским *grande dame*^[116] и никогда не встречаются у немецкой аристократии. Казалось, она была рождена, чтобы быть королевой гостиных, и поэтому принимала как должное и безо всякой радости не только льстивые замечки в светских газетах, но и благоговейное почтение множества поклонников, ни один из которых не осмеливался с ней флиртовать. Для всех она была Юноной, безупречной женщиной, которая могла оказаться и вулканом, и айсбергом.

— Могу я спросить: и кем же она все-таки была?

— Дамой, принимающей бесчисленных гостей и наносящей бесчисленные визиты, дамой, которая, казалось, главенствовала везде: и во время обедов, которые давала сама, и во время обедов, на которых присутствовала, — то есть образцом дамы-патронессы. Владелец магазина как-то заметил: «Когда мадам де Грие останавливается у нашей витрины, у нас праздник, поскольку она привлекает не только внимание джентльменов, но и внимание дам, которые часто покупают то, что отметил ее опытный глаз».

Кроме того, она обладала тем, что так прекрасно в женщинах -

Глубокий, мягкий,
Нежный голос;

думаю, я смог бы привыкнуть к некрасивой жене, но к женщине с визгливым, резким и пронзительным голосом — никогда.

— Говорят, вы на нее похожи.

— Да? Надеюсь, вы не хотите, чтобы я расхваливал свою мать, как Ламартин^[117], а потом скромно добавил; «Я — ее копия».

— Но почему же, так рано овдовев, она больше не вышла замуж? Такая красивая и богатая женщина должна была иметь так же много поклонников, как сама Пенелопа^[118].

— Когда-нибудь я расскажу вам о ее жизни, и тогда поймете, почему она предпочла свободу брачным узам.

— Она любила вас, не так ли?

— Да, очень любила; и я ее тоже. Более того, не будь у меня тех наклонностей, в которых я не смел ей признаться и которые способны понять только лесбиянки, веди я разгульную жизнь развлекаясь со шлюхами, любовницами и веселыми gresettes, как большинство молодых людей моего возраста, я бы сделал ее наперсницей своих любовных подвигов, ведь в момент блаженства мы часто теряем остроту чувств из-за их обилия, тогда как, намеренно выдавая воспоминания по крупицам, мы получаем двойное удовольствие — для чувств и для ума.

Однако в последнее время Телени стал чем-то вроде преграды между нами, и я думаю, мать начала меня ревновать, ибо его имя сделалось ей так же неприятно, как когда-то было неприятно мне.

— Она начала догадываться о вашей liaison?

— Я не знал, догадывалась она об этом или ревновала из-за моей к нему привязанности. Однако близился критический момент, и события начинали развиваться по тому пути, который привел к страшному концу.

В некой местности намечался большой концерт, и, поскольку Л., который должен был в нем выступать, заболел, заменить его попросили Телени. От такой чести он не мог отказаться.

«Я совсем не хочу покидать вас, — сказал он, — даже на пару дней, но я знаю, что вы сейчас настолько заняты, что никак не можете уехать, особенно учитывая то, что ваш управляющий болен».

«Да, — ответил я, — это довольно затруднительно, но всё же я мог бы...»

«Нет-нет, это было бы глупо; я вам не позволю».

«Но вы ведь так давно не играли на концерте без меня».

«Вы будете в моей душе, если не во плоти. Я буду видеть, что вы сидите на своем обычном месте, и играть для вас и только для вас. Кроме того, мы ни разу не расставались ни на день с тех пор, как вы получили письмо Брайанкорта. Давайте проверим, можем ли мы два дня прожить врозь. Кто знает, может быть, когда-нибудь...»

«Что вы хотите этим сказать?»

«Ничего, только вам может надоесть такая жизнь. Вы можете жениться ради того, чтобы иметь семью, как делают другие мужчины».

«Семьей?! — Я расхохотался. — Что, эта обуза так необходима для счастья?»

«Вы можете пресытиться моей любовью».

«Рене, не говорите так! Я не могу без вас жить!»

Он скептически улыбнулся.

«Как?! Вы сомневаетесь в моей любви?»

«Разве можно сомневаться в том, что звезды — это огонь? А вы, — продолжал он медленно, глядя мне в глаза, — вы сомневаетесь в моей любви?»

Мне показалось, что он побледнел.

«Нет. Разве вы давали мне хоть малейший повод сомневаться?»

«А если бы я был неверен?»

«Телени, — произнес я, замирая, — у вас есть другой любовник». Я представил, как он, находясь в чужих объятиях, испытывает блаженство, которое принадлежало мне, и только мне.

«Нет, — сказал он, — у меня никого нет; но если бы был?»

«Вы полюбили бы его или ее, и моя жизнь была бы разрушена навсегда».

«Нет, не навсегда, может быть, только на время. Но Вы бы смогли простить меня?»

«Да, если бы вы меня еще любили».

При мысли о том, что я могу потерять его, у меня сильно закололо в сердце; это подействовало на меня, как основательная порка; глаза наполнились слезами, кровь закипела. Я схватил его и обнял, вкладывая в это объятие всю свою силу; губы жадно искали его губ, мой язык был у него во рту. Чем больше я его целовал, тем печальнее становился и тем сильнее было мое желание. На минуту я отстранился и взглянул на него. Как красив он был в тот день! Его красота была почти неземной!

Я и теперь вижу его — в ореоле мягких шелковистых волос, похожих на золотистый солнечный луч, играющий в бокале вина цвета топаза, с влажным, полуоткрытым, напоенным восточной чувственностью ртом, с алыми губами, не иссушенными болезнями, как губы размалеванных, крепко надушенных куртизанок, продающих за золото несколько мгновений гнусного блаженства и не выцветшими, как губы бледных, малокровных девственниц с осиной талией, в чьих венах ежемесячные менструации вместо рубиново-красной крови оставили лишь бесцветную жидкость.

И эти сияющие глаза, медленный огонь которых, казалось, смягчал страстность чувственных губ, а почти по-детски невинные, похожие на персик, округлые щеки контрастировали с массивной, мощной шеей и фигурой, к которой прикоснулся каждый бог, чтоб миру веру в человека дать.

И пусть равнодушный, пропахший фиалковым корнем эстет, влюбленный в призрак, бичует меня за пламенную, сводящую с ума страсть, которую вызывала в моей груди эта мужская красота. Да, я столь же пылок, как горячие мужчины, рожденные на склоне вулкана в Неаполе или под палящим солнцем Востока; во всяком случае, я скорее предпочел бы быть таким, как «латинский брюнет» — человек, любивший мужчин-соплеменников, — чем таким, как Данте, пославший их всех в Ад, тогда как сам отправился в благодатное место, называемое Раем, с томным привидением, им самим же сотворенным.

Телени возвращал мои поцелуи с исступленной, отчаянной страстью. Его губы пылали, его любовь, казалось, превратилась в неистовый огонь. Не знаю, что на меня нашло, но я почувствовал, что наслаждение могло меня убить, а не успокоить. Голова моя шла кругом!

Существует два вида сладострастия. Оба одинаково сильны и неодолимы. Первый вид — горячая, жгучая, чувственная страсть, разгорающаяся в половых органах и поднимающаяся к мозгу, заставляя людей

Купаться в радости, душою чужа
Крылатую божественную силу,
Что над землей парит.

Второй — холодная желчная страсть воображения, острая воспалённость мозга, которая иссушает кровь,

как будто юный хмель в вине.

Первый — неистовое вождение похотливой юности, естественное для плоти, — удовлетворяется, как только люди

насытятся игрой любовной,

и из наполненного до краев мешка выбрасывается отягощавшее его семя; тогда люди чувствуют себя так, как чувствовали себя наши прародители, когда освежающий сон

их накрывал, уставших от забав любовных.

Восхитительно легкое тело словно покоится на «прохладных коленях земли», и ленивый сонный ум предается размышлениям о дремлющем наконечнике своего снаряда.

Второй — вспыхнувший в голове,

настоянный на запахах отравы, —

есть распутство угасающего, болезненная страсть, похожая на голод пресытившейся утробы. Чувства, как чувства Мессалины, *lassata sed non satiate*^[119] находятся в постоянном возбуждении и напряжены сверх возможного. Семязвержение нисколько не успокаивает тело, напротив, лишь еще больше раздражает его, ибо сладострастные фантазии продолжают волновать и после того, как в мешке совершенно не осталось семян. Даже если вместо целебной густой жидкости появляется едкая кровь, она не приносит ничего, кроме мучительного раздражения. В этом случае — противоположном сатириазису — эрекция отсутствует и фаллос остается вялым и безжизненным, но бессильное тело не перестает корчиться от вожделения и похоти — миража, созданного воспаленным, доведенным до истощения мозгом.

Два эти чувства, соединенные вместе, близки к тому, что я испытал, когда, прижимая Телени к трепещущей, вздымающейся груди, я ощутил в себе яд его страстного желания и всепоглощающей печали.

Я снял со своего друга воротничок и галстук, чтобы полюбоваться и прикоснуться к его прекрасной обнаженной шее; затем я стал

постепенно раздевать его, пока наконец он не оказался нагим в моих объятиях.

Он был настоящим образцом чувственной красоты: сильные мускулистые плечи, широкая выпуклая грудь, белоснежная кожа, нежная и гладкая, как лепестки водяной лилии, руки и ноги округлые, как у Леотара^[120], в которого были влюблены все женщины; его бедра, голени и ступни были идеальным образцом изящества.

Чем дольше я смотрел на него, тем больше им восхищался. Но созерцания было недостаточно. Чтобы усилить визуальное наслаждение, мне нужно было касаться его, я хотел чувствовать твердые, но упругие мышцы его рук в своих ладонях, гладить массивную мускулистую грудь, ласкать спину. Оттуда мои руки спустились к округлым долям у крестца, и я схватил его за ягодицы и прижал к себе. Срывая с себя одежду, я прижимался к нему всем телом, терся о него, извиваясь, как червь. Я лежал на нем, и мой язык погружался в его рот в поисках его языка, который то отступал, то вырывался наружу, преследуя моего беглеца; это было похоже на похотливую игру в прятки — игру, которая заставляла все тело трепетать от восторга.

Наши пальцы поигрывали кудрявыми волосами, растущими на лобке, или ласкали яички столь нежно, что прикосновения почти не ощущались, однако яички были охвачены такой сильной дрожью, что жидкость, в них скопившаяся, рвалась наружу раньше времени.

Ни одна самая умелая проститутка не смогла бы подарить столь волнующего чувства, какое я испытывал со своим возлюбленным, поскольку она знакома лишь с теми удовольствиями которые познала сама, а более острых ощущений, неведомых её полу, она и представить себе не в состоянии.

Точно так же ни один мужчина не в силах свести женщину с ума и довести ее до полного иступления так, как может это сделать лесбиянка, ибо только она знает, как нужно ласкать, когда и в каком месте. Поэтому квинтэссенция блаженства доступна лишь существам одинакового пола.

Теперь наши тела были так же плотно прижаты друг к другу как перчатка прижата к руке, которую она обтягивает; ступни сладострастно ласкали ступни, колени вдавились друг в друга, а кожа на бедрах, казалось, расступилась, и образовалась единая плоть.

Хотя мне очень не хотелось вставать, но, почувствовав, как пульсирует его твердый раздувшийся фаллос, я уже собирался оторваться от Телени, взять это возбужденное орудие в рот и опустошить его, как вдруг он, заметив, что мой фаллос не только набух, но увлажнился и наполнился до краев, схватил меня и притянул к себе.

Он раздвинул бедра и обхватил ими мои ноги так, что его пятки сжимали мне голени. Я оказался в тисках и не мог пошевелиться.

Затем, ослабив объятия, Рене приподнялся и подложил подушку под широко раздвинутые ягодицы — его ноги все время были расставлены.

Проделав это, он взял мой жезл и принялся вдавливать его свой зияющий анус. Кончик резвого фаллоса скоро нашел гостеприимное отверстие, радостно готовое его принять. Я слегка надавил; головка полностью погрузилась. Сфинктер сжал ее настолько, что для того, чтобы ее вынуть, нужно было бы приложить некоторые усилия. Я медленно вводил фаллос, дабы как можно дольше продлить неопишуемое ощущение, охватившее все мои члены, чтобы унять нервную дрожь и успокоить жар в крови. Еще один толчок, и в его тело погрузилась половина фаллоса. Я вытащил его на полдюйма, хотя мне эти полдюйма показались ярдом — столь продолжительное удовольствие я испытал. Я снова надавил, и член целиком, по самый корень, погрузился внутрь. Тщетно я пытался продвинуть его дальше — это было невозможно; я был стиснут и чувствовал, как он шевелится в своих ножнах, словно ребенок в утробе матери, и дарит мне невыразимое наслаждение.

Снизшедшее на меня блаженство было столь великим, что я спрашивал себя, не пролилась ли мне на голову и не струится ли из моей трепещущей плоти некая неземная животворящая влага?

Несомненно, такое же ощущение во время ливня испытывают оживающие цветы, иссушенные палящими лучами летнего солнца.

Телени опять обвил меня рукой и прижал к себе. Я видел себя в его глазах, он видел себя в моих. Охваченные этим искрящимся сладострастием, мы нежно ласкали тела друг друга; губы наши слились, и мой язык вновь оказался у него во рту. Мы замерли в этой чувственной позе, ибо я ощущал, что любое движение может спровоцировать обильное семяизвержение; а наслаждение было

слишком велико, чтобы позволить ему так быстро прекратиться. И все же мы не могли не извиваться и едва не теряли сознание от удовольствия. От корней волос до кончиков пальцев мы трепетали от сладострастия; вся наша плоть дрожала, как в полночь дрожат безмятежные воды озера от сладкого поцелуя шаловливого ветерка, только что лишившего невинности юную розу.

Однако столь сильное наслаждение не могло длиться долго; несколько произвольных сокращений сфинктера, и первая атака завершилась; изо всей силы я вонзил фаллос вглубь; я наслаждался Телени; дыхание мое участилось, я задышался, я вздыхал, я стонал. Густая кипящая жидкость медленно изливалась струями, вырывающимися через длительные интервалы.

Я продолжил тереться об него, вскоре он испытал те же ощущения; не успела из меня вытечь последняя капля, как я был омыт его обжигающей спермой. Мы больше не целовались; наши истомленные, безжизненные полураскрытые губы лишь впитывали дыхание друг друга. Наши незрячие глаза больше ничего не видели — нас охватило то благодатное изнеможение, что следует за исступленным восторгом.

Однако мы не впали в забытие, а оставались в оцепенении, онемевшие, позабывшие обо всем на свете, кроме нашей любви, не чувствовавшие ничего кроме наслаждения от соприкосновения наших тел, которые, казалось, перестали существовать отдельно и слились воедино. У нас была всего лишь одна голова и одно сердце, ибо сердца стучали в унисон, а в головах мелькали одни и те же смутные мысли.

Почему Иегова не поразил нас в ту минуту? Разве мы недостаточно разгневали Его? Неужели Бог-ревнитель не позавидовал нашему блаженству? Почему Он не метнул в нас одну из своих карающих молний и не уничтожил нас?

— Что?! И швырнул бы вас обоих прямо в ад?!

— Что ж с того? Конечно, в аду нет места великим устремлениям; там нет ни ложных стремлений к недостижимому идеалу, ни напрасных надежд, ни горьких разочарований. Там нам не придется притворяться теми, кем мы не являемся, и мы обретем настоящее успокоение ума, а наши тела получат возможность развивать те способности, которыми одарила их природа. Мы избавимся от

необходимости лицемерить и обманывать, и страх перед тем, что все узнают, кто мы на самом деле, никогда не будет терзать нас.

Если уж мы так порочны, то, по крайней мере, будем в этом откровенны. Там мы будем честны друг с другом настолько, насколько здесь, в мире людей, могут быть честны друг с другом только воры; и более того, у нас будет приятное дружеское общение с теми собратями, которые нам по душе.

Так стоит ли бояться ада? Даже допуская существование загробной жизни в бездонной яме — чего я не признаю, — ад окажется раем для тех, кого природа создала для него. Разве животные ропщут, что не сотворены быть людьми? Думаю, нет. Тогда почему мы должны чувствовать себя несчастными из-за того, что не рождены ангелами?

В тот момент мы словно плыли между небом и землей, не думая о том, что все, что имеет начало, имеет и конец.

Чувства притупились, и мягкая тахта, на которой мы лежали, казалась ложем из облаков. Вокруг нас царила мертвая тишина. Даже шум и гул большого города, казалось, утих — или, по крайней мере, мы его не слышали. Неужели земля перестала вращаться, и десница Времени прекратила свой зловеющий ход?

Помню, что мне хотелось, чтобы жизнь прошла в этом спокойном, безмятежном, сонном состоянии, похожем на гипнотический транс, когда тело ввергнуто в летаргическое оцепенение, а разум,

последний жаркий уголек в золе,

способен ощущать лишь легкость и умиротворенность. Внезапно нашу приятную дремоту прервал звук электрического звонка.

Телени вскочил, торопливо завернулся в халат и вышел. Через несколько минут он вернулся с телеграммой в руке.

«Что это?» — поинтересовался я.

«Послание от N.», — ответил он, глядя на меня с тоской; голос его слегка дрожал.

«И вам нужно ехать?»

«Полагаю, что так», — произнес он, глядя на меня полными скорби глазами.

«Вам это настолько неприятно?»

«Неприятно-не то слово; это Невыносимо. Это первая разлука, и...»

«Да, но ведь только на пару дней».

«Пара дней, — отозвался он мрачно, — это промежуток времени, отделяющий жизнь от смерти,

Ведь это в лютне маленькая щель,
В которой постепенно смолкнет трель,
И тишина из трещинки родится».

«Телени, вот уже несколько дней у вас на душе какая-то тяжесть, что-то, чего я не могу понять. Вы не скажете своему другу, в чем дело?»

Он широко раскрыл глаза, словно вглядывался в глубины бесконечности; на его губах застыло выражение боли. Затем он медленно произнес:

«Дело в моей судьбе. Неужели вы забыли о пророческом видении, которое предстало перед вами в тот вечер на благотворительном концерте?»

«Адриан, оплакивающий смерть Антиноя?!»

«Да».

«Фантазия моего воспаленного мозга, порожденная противоречивыми особенностями вашей венгерской музыки — столь волнующей, чувственной и в то же время настолько печальной».

Он горестно покачал головой: «Нет, это было нечто большее, чем праздная фантазия».

«В вас происходят какие-то перемены, Телени. Возможно, сейчас религиозный или духовный элемент вашей натуры преобладает над чувственным, но вы уже не тот, что были раньше».

«Я слишком счастлив, но наше счастье построено на песке — Такие узы, как наши...»

«Не благословляются Церковью и отвратительны большинству добропорядочных людей».

«Да, в такой любви всегда есть

Лишь червоточинка, но спелый плод
Сгниет, насквозь прогрызенный червем.

Зачем мы встретились, или, вернее, почему один из нас не рожден женщиной? Если бы только вы были какой-нибудь бедной девушкой...»

«Не надо, оставьте свои болезненные фантазии и скажите откровенно, любили бы вы меня тогда сильнее, чем сейчас?»

Он печально взглянул на меня, но не смог заставить себя солгать. Помолчав немного, он со вздохом добавил:

«Любовь, что не покинет нас,
Когда пыл юности угас.

Скажите, Камиль, наша любовь такова?»

«Почему нет? Разве вы не питаете ко мне столь же постоянную любовь, какую я питаю к вам? И разве меня привлекают только чувственные удовольствия, которые вы мне дарите? Вы знаете, что мое сердце тоскует по вам и тогда, когда страсть удовлетворена, а желание притупляется».

«И все-таки, если бы не я, вы, возможно, полюбили бы какую-нибудь женщину, на которой захотели бы жениться...»

«И обнаружил бы, что рожден с иными пристрастиями, но было бы слишком поздно. Нет, рано или поздно, я должен был бы пойти по пути, предначертанному судьбой».

«И теперь все может измениться; пресытившись моей любовью, вы, возможно, могли бы жениться и забыть меня».

«Никогда. Но постойте, вы что, исповедуетесь? Уж не собираетесь ли вы стать кальвинистом? Или, подобно Dame aux Camelias^[121] или Антиною, считаете необходимым принести себя в жертву на алтарь любви ради меня?»

«Пожалуйста, не шутите».

«Я скажу вам, что мы сделаем. Давайте оставим Францию. Давайте поедem в Испанию, на юг Италии или даже давайте покинем Европу и отправимся на Восток; уверен, что жил там в одной из своих

прежних жизней, и испытываю столь страстное желание там побывать, как будто земля,

где цветы не отцветают и сияние не меркнет,

некогда была домом моей юности; там мы будем жить, никому не известные, забытые миром».

«Да, но могу ли я уехать из этого города?» — проговорил он задумчиво, обращаясь скорее к себе, чем ко мне.

Я знал, что в последнее время Телени осаждали кредиторы и что ростовщики часто доставляют ему неприятности. Поэтому, нимало не заботясь о том, что обо мне подумают, — а разве кто-то думает плохо о человеке, который платит? — я созвал всех кредиторов и втайне от Рене расплатился по всем счетам. Я было собирался рассказать ему об этом и тем самым избавить от груза, удручавшего его, но Судьба — слепая, неумолимая, сокрушительная Судьба — наложила печать на мои уста.

В дверь снова позвонили. Если бы этот звонок раздался на несколько секунд позже, его и моя жизни сложились бы совсем по-иному! Но, как говорят турки, это был «кисмет»^[122].

За ним прибыла коляска, чтобы отвезти на вокзал. Пока он собирался, я помог упаковать фрак и некоторые мелочи, которые могли ему понадобиться. Я случайно наткнулся на маленькую спичечную коробочку, где хранились кондомы, и, улыбнувшись, сказал:

«Вот, положу их в ваш дорожный сундук; они могут пригодиться».

Он вздрогнул и смертельно побледнел.

«Кто знает, — сказал я, — может быть, какая-нибудь прекрасная патронесса...»

«Пожалуйста, не шутите», — резко ответил он.

«О! Теперь я могу себе это позволить, но когда-то... вы знаете, что я ревновал вас даже к моей матери?»

Телени уронил зеркало, которое держал в руках; оно разбилось вдребезги.

Мы оба застыли в ужасе. Разве это не было дурным предзнаменованием? В этот момент начали бить часы на каминной

полке. Телени пожал плечами.

«Идемте, — сказал он, — у нас мало времени». Он схватил свой чемодан, и мы поспешили вниз.

Я проводил его до вокзала, и, когда он вышел из вагона, я, перед тем как уйти, обнял его, и наши губы слились в последнем долгом поцелуе. Они нежно прижались друг к другу, охваченные не жаром страсти, а любовью, преисполненной нежности и печали, сжимающей сердце.

Его поцелуй был как последний привет увядающего цветка или как сладкий аромат, подаренный в сумерках одним из изящных белых цветов кактуса, что раскрывает свои лепестки на рассвете, следует за солнцем в его дневном пути и затем никнет и увядает с последним лучом светила.

Расставшись с ним, я почувствовал себя так, будто лишился собственной души. Моя любовь была словно хитон Несса^[123], снять с себя который было так же болезненно, как если бы мою плоть срывали с меня по частям. Ощущение было таким, словно у меня отняли радость жизни.

Я смотрел, как он быстро удалялся пружинистой походкой, полной кошачьей грации. Дойдя до входа в вагон, он обернулся. Выражение отчаяния и мертвенная бледность на лице делали его похожим на человека, собирающегося покончить с собой. Он в последний раз помахал рукой и быстро скрылся в вагоне.

Солнце для меня закатилось. Над миром нависла ночь. Я чувствовал себя

Душою, что замирает
Во тьме меж адом и раем,

и, трепеща, задавался вопросом, какое утро породит эта мгла? Агония, отобразившаяся на его лице, посеяла в глубине моей души ужас; я подумал, как глупо с нашей стороны подвергать друг друга ненужным страданиям, и, выскочив из коляски, ринулся за ним.

Вдруг на меня налетел и стиснул в объятиях какой-то огромный деревенский увалень.

«О...! — я не разобрал имени, которое он назвал. — Какой приятный сюрприз! Ты давно здесь?»

«Отпустите меня! Отпустите! Вы обознались!» — вопил я, но он держал меня в тисках.

Пока мы боролись, я услышал сигнал к отправлению. Я с силой оттолкнул его и бросился на вокзал. Я опоздал всего лишь на несколько секунд — поезд уже тронулся, Телени исчез.

Мне ничего не оставалось, как отправить моему другу письмо, умоляя его простить меня за совершение того, что Рене всегда мне запрещал, — а именно, что я дал поручение своему адвокату собрать все его неуплаченные счета и расплатиться по долгам, которые так давно его тяготили. Однако этого письма он так и не получил.

Я вскочил в кеб, и он повез меня в контору по оживленным улицам города.

Какая раздражающая суэта царила вокруг! Каким убогим и пустым казался этот мир!

Безвкусно одетая, ухмыляющаяся девица бросала похотливые взгляды на какого-то парня, призывая его пойти с ней. Одноглазый сатир пожирал глазами молоденькую девушку — совсем еще дитя. Мне показалось, что я его знаю, да, это был мой школьный товарищ Бью, всегда вызывавший во мне отвращение, и он еще больше, чем некогда его отец, походил на зазывалу в публичном доме. Толстый, с лоснящимися волосами человек нес дыню-канталупу, и у него, казалось, текли слюни от предвкушения удовольствия, которое он получит, когда вместе с женой и детьми станет есть ее после супа. Я спрашивал себя, неужели мужчина или женщина могли без отвращения целовать этот слюнявый рот?

В последние три дня я совершенно забросил контору, а мой управляющий был болен. Так что я счел своим долгом приступить к работе и сделать все, что требовалось. Несмотря на гложащую душу тоску я принялся отвечать на письма и телеграммы либо отдавать указания, как следует на них отвечать. Я работал лихорадочно, скорее как машина, а не как человек. На несколько часов я полностью погрузился в сложные коммерческие операции, и, хотя голова у меня была ясной, лицо моего друга с печальными глазами, с чувственным ртом, искаженным горькой улыбкой, все время стояло у меня перед глазами, а на губах ощущался привкус поцелуя.

Контору пора было закрывать, а я еще не сделал и половины того, что было необходимо. Словно сквозь сон я видел унылые лица моих клерков, которым пришлось отложить обед и прочие удовольствия. Им всем было куда пойти, я же был совсем один, даже мать уехала из города. Так что я отпустил их, сказав, что останусь с главным бухгалтером. Дважды повторять не пришлось, и в мгновение ока контора опустела.

Что же касается бухгалтера, то он был коммерческим ископаемым, чем-то вроде живой счетной машины; он был настолько стар, что при каждом движении все его суставы скрипели, как заржавленные дверные петли, так что он почти не двигался. Никто никогда не видел, чтобы он находился где-нибудь, кроме как на своем высоком табурете; когда приходил кто-нибудь из младших клерков, бухгалтер уже сидел на своем месте, а когда они уходили, он все еще был там. У него в жизни была лишь одна цель — обеспечение бесконечного прироста капитала.

Я плохо себя чувствовал, поэтому отправил мальчика-посыльного за бутылкой сухого хереса и коробкой ванильных вафель. Когда мальчик вернулся, я отпустил его.

Я налил бухгалтеру бокал вина и протянул ему коробку с вафлями. Старик взял бокал в руку цвета пергаментной бумаги, поднес его к свету и стал всматриваться, то ли рассчитывал химические свойства вина, то ли определял его удельный вес. Затем он медленно и с явным удовольствием начал его пить. На вафли он посмотрел внимательно, как на чек, который собирался зарегистрировать.

Потом мы снова приступили к работе, и к десяти часам, когда были готовы ответы на все письма и депеши, я с большим облегчением вздохнул.

«Если мой управляющий завтра придет, как и обещал, он будет мною доволен», — промелькнуло у меня в голове. Я улыбнулся этой мысли.

Зачем я работал? Ради прибыли? для того, чтобы угодить своему клерку? Или ради работы как таковой? Уверен, что и сам не знал. Думаю, что трудился ради того лихорадочного возбуждения, которое приносила мне работа, так же как люди играют в шахматы для того, чтобы занять свои мозги и не думать о том, что их гнетет; а может

быть, я обладал врожденным трудолюбием, как, например, муравьи или пчелы.

Не желая больше заставлять бедного бухгалтера сидеть на его табурете, я признал тот факт, что пора закрывать контору.

Старик медленно с хрустом поднялся, снял очки, как автомат, не спеша протер их, положил в чехол, спокойно вынул другие — у него были очки на все случаи жизни, — нацепил их на нос и посмотрел на меня.

«Вы проделали огромную работу. Если бы вас видели ваши дед и отец, они были бы совершенно вами довольны».

Я снова налил два бокала вина и протянул один из них старику. Он залпом осушил его, довольный не столько вином, сколько тем, что я был столь добр, что предложил ему выпить. Мы пожали друг другу руки и разошлись.

Куда мне было идти — домой?

Я сожалел о том, что моя мать еще не вернулась. В тот самый день я получил от нее письмо, в котором она сообщала, что, вместо того чтобы вернуться через пару дней, как ранее намеревалась, она, возможно, ненадолго отправится в Италию. У нее обострился бронхит, и она боялась сырости и туманов, часто окутывавших наш город.

Бедная моя мать! Теперь я думал, что, с тех пор как у нас с Телени установились близкие отношения, между мной и ею возникло некоторое отчуждение; не оттого, что я стал меньше любить ее, а потому что Телени полностью завладел моими душой и телом. Однако сейчас, когда он уехал, я затосковал по ней и решил написать ей длинное, полное любви письмо, как только приду домой.

А пока я шел куда глаза глядят. Проблуждав таким образом около часа, я вдруг обнаружил, что стою у дома Телени — пришел сюда, сам того не осознавая. Я с тоской взглянул на окна Телени. Как я любил этот дом! Я был готов целовать камни, которых касались его ноги.

Ночь была темной, но ясной, улица — очень тихая — освещалась не слишком хорошо, да к тому же ближайший к дому фонарь почему-то не горел.

Я продолжал смотреть на окна, и вдруг мне показалось, что сквозь щель между задернутыми шторами пробивается слабый свет. «Это все лишь мои фантазии», — подумал я.

Я напряг зрение. «Да нет же, я не ошибаюсь, — произнес я вслух, разговаривал сам с собой, — там точно горит свет».

Неужели Телени вернулся?

Возможно, им завладело то же уныние, какое испытывал я с тех пор, как мы расстались. Мука, отобразившаяся на моем мертвенно-бледном лице, должно быть, парализовала его, в таком состоянии он играть не мог и решил вернуться. Или отложили концерт.

А может быть, это воры?!

Но что, если Телени?...

Нет, сама эта мысль была абсурдна. Как мог я подозревать в неверности человека, которого любил? От такого предположения я вздрогнул как от чего-то ужасного — как от нравственной скверны. Нет, все что угодно, только не это. Ключ от входной двери был у меня в руке, я уже вошел в дом.

Я стал крадучись пробираться по темной лестнице, вспоминал ту ночь, когда впервые пришел сюда со своим другом, и как мы останавливались на каждой ступеньке, чтобы обнять и поцеловать друг друга.

Теперь же, когда я был один, темнота давила на меня тяжелым грузом. Наконец я добрался до entresol^[124], где жил мой друг. Во всем доме царила полная тишина.

Перед тем, как вставить ключ, я заглянул в замочную скважину. Может быть, Телени или его слуга оставили в передней и в одной из комнат зажженную лампу?

Мне вспомнилось разбитое зеркало, и в голове замелькали ужасающие мысли. И снова помимо моей воли мною завладела страшная мысль о том, что мое место в сердце Телени занял кто-то другой.

Нет, это было слишком нелепо. Кто мог быть моим соперником?

Словно вор, я вставил ключ в замок; петли были хорошо смазаны маслом, и дверь бесшумно отворилась. Я аккуратно закрыл ее, стараясь не произвести ни единого звука, и стал крадучись, на цыпочках пробираться в квартиру.

Всюду на полу лежали ковры, смягчавшие мои шаги. Я направился в комнату, где несколько часов назад испытал неземное блаженство. Там горел свет. Изнутри доносились приглушенные звуки.

Я слишком хорошо знал, что означают эти звуки. Впервые я испытал уничтожающие уколы ревности. Казалось, мне в сердце вонзили отравленный кинжал; гигантская гидра схватила меня своими челюстями и огромными клыками впилась мне в грудь.

Зачем я здесь? Что мне теперь делать? Куда идти? Мне казалось, что я умираю.

Рука уже лежала на двери, но, перед тем как открыть ее, я сделал то, что, полагаю, сделали бы большинство людей. Трясаясь с головы до ног, с замиранием сердца я наклонился и заглянул в замочную скважину.

Может быть, я сплю, и все это кошмарный сон? Я впился ногтями в свою плоть, чтобы убедиться, что нахожусь в сознании. И все же я не был уверен в том, что жив и что все это происходит наяву.

Иногда мы утрачиваем чувство реальности; жизнь предстает перед нами как причудливый оптический обман — фантазмагорическая химера, которая исчезнет от легчайшего дуновения.

Затаив дыхание, я заглянул внутрь.

Нет, это не было иллюзией, не было картиной, созданной моим воспаленным воображением. Там, на стуле, еще не остывшем от наших объятий, сидели двое.

Но кто они?

Возможно, Телени пустил переночевать кого-то из своих друзей. Возможно, он забыл сказать мне об этом или не посчитал это нужным.

Конечно же, так оно и есть. Телени не мог изменить мне.

Я снова заглянул внутрь. Комната была освещена намного ярче, чем коридор, и мне все было прекрасно видно.

Я увидел силуэт мужчины, разместившегося на стуле, который изобретательный ум Телени сконструировал для усиления чувственного удовольствия. Верхом на мужчине спиной к двери сидела женщина с темными разметающимися волосами. На ней было белое атласное платье.

Я напряг глаза, дабы рассмотреть каждую мелочь, и увидел, что на самом деле она не сидит, а стоит на цыпочках, и, несмотря на свою полноту, легко подпрыгивает у мужчины на коленях.

Хотя я этого не видел, но мне стало ясно, что всякий раз, опускаясь, она принимала в свое отверстие значительных размеров

стержень, на который так плотно была насажена. Я понял также, что получаемое удовольствие было столь захватывающим, что заставляло ее отскакивать как резиновый мяч, но лишь для того, чтобы снова упасть и упругими, сочными, хорошо увлажненными губами полностью, по самый корень, поглотить пульсирующий жезл наслаждения. Кем бы она ни была — великосветской дамой или шлюхой, — ее никак нельзя было назвать новичком, ибо только женщина с огромным опытом могла продемонстрировать такую виртуозность в скачках Цитеры^[125].

Я продолжать наблюдать и видел, как растет ее наслаждение: оно приближалось к своему пику. От иноходи женщина постепенно перешла к рыси, а затем пустилась легким галопом; продолжая скачки, она со все возрастающей страстью сжимала голову мужчины, на коленях которого сидела верхом. Было ясно, что прикосновение губ любовника и движения его раздувшегося орудия внутри нее приводили ее в любовный экстаз; она понеслась галопом, чтобы,

Прыгая быстрее, быстрее
От безумия страстей,

достичь чудесной цели своей поездки.

Тем временем мужчина — кем бы он ни был, — пройдясь руками по массивным долям ее зада, принялся поглаживать, сжимать и массировать ее груди, усиливал ее удовольствие тысячей милых ласк, которые едва не сводили ее с ума.

Мне сейчас вспомнилась любопытная деталь, показывающая, как работает наш мозг и как его отвлекают посторонние мелочи даже тогда, когда он полностью погружен в самые горькие думы. Я помню, что испытывал некоторое эстетическое наслаждение от игры света и тени на роскошном атласном платье дамы, блестевшем под лучами висевшей над ее головой лампы. Я вспоминаю, как восхищался нежными жемчужными и металлическими оттенками, которые то искрились, то сияли, а то превращались в слабый, тусклый отблеск.

Но тут шлейф платья запутался в ножках стула, и, поскольку это обстоятельство мешало ритмичным постоянно убыстрявшимся

движениям, дама, обхватив любовника за шею, ловко сбросила платье и осталась в объятиях мужчины совершенно обнаженной.

Каким великолепным было ее тело! Юнона во всем своем величии не могла бы быть более совершенной. Однако у меня почти не было времени восхищаться ее необыкновенной красотой, ее грацией, силой, чудесной симметрией ее силуэта, ее подвижностью и мастерством, поскольку скачки подходили к концу.

Оба любовника трепетали; ими овладело восхитительное чувство, предшествующее переполнению семявыводящих каналов. Очевидно, уста вагины сосали головку мужского орудия, поскольку последовали нервные сокращения; влагалище, в котором был зажат ствол, сжалось, и тела забились в конвульсиях.

Разумеется, за такими сильными спазмами должны следовать выпадение и воспаление матки, но ведь какое наслаждение они, должно быть, дарят мужчине.

Потом я услышал вздохи, пыхтение, тихое воркование, гортанные звуки, приглушаемые сдавленными поцелуями, которые дарили все еще приникшие друг к другу рты. В то время, как любовники содрогались от наслаждения, я содрогался в агонии, ибо был почти уверен, что этот мужчина — мой возлюбленный.

«Кто же эта ненавистная женщина?» — задавался я вопросом. Но вид двух обнаженных тел, переплетенных в столь волнующих объятиях, эти две массивные доли, белые, как только что выпавший снег, приглушенные звуки, выражающие исступленное блаженство, на мгновение пересилили мучительную ревность, и мною овладело неукротимое возбуждение, так что я едва удержался от того, чтобы ворваться в комнату. Моя взволнованная, бьющая крыльями птишка, мой соловей — как называют ее итальянцы, — подобно скворцу Стерна, пытался вырваться из клетки^[126]; но не только — он к тому же так высоко поднял голову, словно хотел дотянуться до замочной скважины.

Мои пальцы уже лежали на дверной ручке. Почему бы мне не ворваться и не принять участие в этом пире, хотя бы и более скромным образом, — как нищий, войти через черный ход? В самом деле — почему нет?!

В этот момент, дама, которая все еще крепко обнимала мужчину на шею, произнесла: «Bon Dieu!»^[127] Как хорошо! давно я не

испытывала такого сильного наслаждения».

Я оторопел. Пальцы мои разжались, рука опустилась, даже моя пташка безжизненно поникла.

Что за голос!

«Я знаю этот голос, — сказал я себе. — Он кажется мне таким знакомым. Только кровь, ударившая в голову и стучавшая в ушах, мешает мне понять, чей это голос».

В полном изумлении я поднял голову и увидел, что женщина встала и повернулась лицом к двери. Теперь она стояла ближе, и ее лица я видеть не мог, но зато я видел ее обнаженное тело от плеч и ниже. У нее была изумительная фигура, самая прекрасная из всех, что я когда-либо видел. Само совершенство женского торса.

Кожа у женщины была ослепительно белая и по гладкости могла соперничать со сброшенным атласным платьем. Ее груди — возможно, немного великоватые для того, чтобы быть эстетически красивыми, — казалось, принадлежали одной из пышных венецианских куртизанок с картин Тициана; твердые, словно разбухшие от молока, полушария выдавались вперед; торчащие соски, похожие на два нежных розовых бутона, были окружены коричневатым ореолом, напоминающим шелковистое окаймление цветка страсти.

Мощная линия бедер подчеркивала красоту ног. Живот — идеально круглый и гладкий — был наполовину покрыт чудесным мехом, таким же черным и блестящим, как мех бобра; однако же было очевидно, что у этой женщины есть дети, поскольку живот походил на муар. Между зияющих влажных губ медленно просачивались жемчужного цвета капли.

Женщина не была юной, но это не делало ее менее желанной. Она обладала великолепной красотой распутившейся розы, и наслаждение, которое она, вероятно, могла подарить, было сродни удовольствию, получаемому от благоухающего цветка; блаженство, которое заставляет пчелу, собирающую мед, замирать от восторга в цветочном лоне. Это соблазнительное тело, насколько я видел, было создано для того, чтобы дарить — и дарило — наслаждение не одному мужчине, так как природа явно предопределила ей быть одной из жриц Венеры.

Продemonстрировав моему изумленному взору чудесную красоту она отступила в сторону, и я увидел ее партнера по развлечениям. Хотя

он закрыл лицо руками, я сразу узнал в нем Телени. Ошибки быть не могло.

Во-первых, его божественная фигура, во-вторых, его фаллос, который я так хорошо знал, а кроме того — я едва не лишился чувств, когда мой взгляд упал на ее руку, — кроме того, на пальце сверкало подаренное мною кольцо.

Женщина снова заговорила. Мужчина отнял руки от лица. Это был он! Это был Телени — мой друг, моя любовь, моя жизнь!

Как описать то, что я почувствовал? Мне казалось, что я дышу огнем, что на меня пролился дождь из горячей золы.

Дверь оказалась заперта. Я взялся за ручку и рванул ее так, как сильнейший ураган срывает паруса большого фрегата и рвет их в клочья. Я выломал дверь.

Я стоял, шатаюсь, на пороге. Пол, казалось, качался у меня под ногами; перед глазами все плыло; я находился в самом центре страшного водоворота. Чтобы не упасть, я ухватился за дверные косяки, ибо, к величайшему своему ужасу, я оказался лицом к лицу... со своей матерью!

Раздался тройной крик стыда, ужаса, отчаяния — пронзительный, истошный вопль, который зазвенел в воздухе тихой ночи, пробуждая всех мирно дремавших жильцов этого спокойного дома.

— А вы, что же вы сделали?

— Что я сделал? Я не знаю. Должно быть, я что-то сказал, должно быть, что-то сделал, но я совершенно не помню — что. Потом я, спотыкаясь, поплелся вниз по темной лестнице. Мне казалось, что я спускаюсь все ниже и ниже в глубокий колодец. Помню только, как бежал по мрачным улицам, бежал, словно безумный, сам не зная куда.

Я ощущал на себе проклятье Каина, проклятье вечного странника и бежал, куда глаза глядели. Я убежал от них, но мог ли я убежать от себя?

Внезапно на углу улицы я налетел на кого-то. Мы отшатнулись друг от друга. Я был ошеломлен, поражен ужасом, он — только удивлен.

— Кого же вы встретили?

— Самого себя. Человека, как две капли воды похожего на меня, — моего doppelganger. Он пристально посмотрел на меня и пошел дальше. Я же бросился прочь изо всех оставшихся сил.

Голова шла кругом, силы были на исходе, я постоянно спотыкался, но продолжал бежать.

Был ли я безумен?

Внезапно я — измученный, запыхавшийся, истерзанный телом и душой — очутился на мосту, на том самом месте, где стоял несколько месяцев назад.

У меня вырвался резкий, неприятный смех, которого я испугался. Все-таки этим все и кончилось.

Я быстро осмотрелся по сторонам. Вдалеке мелькнула темная тень. Было ли это мое второе «я»?

Меня била дрожь, я обезумел. Не колеблясь ни секунды, я взобрался на парапет и бросился вниз головой в бурлящий поток.

Я снова оказался в самом центре водоворота; я слышал шум стремительных вод; со всех сторон меня сжимала темнота, в голове с поразительной скоростью проносилась масса мыслей, а затем на некоторое время воцарилась пустота.

Смутно помню, как открыл глаза и увидел — словно в зеркале, — что на меня пристально смотрит мое собственное мертвенно-бледное лицо.

Тут я снова потерял сознание. Когда я наконец пришел в себя, то обнаружил, что нахожусь в морге — в этом страшном склепе, в морге! Меня сочли мертвым и привезли туда.

Я огляделся, но увидел лишь незнакомые лица. Моего второго «я» нигде не было видно.

— А было ли оно?

— Было.

— И кто же это был?

— Мужчина моего возраста, похожий на меня настолько, что нас вполне можно было бы принять за братьев-близнецов.

— Это он спас вам жизнь?

— Да; вероятно, встретившись со мной, он был поражен не только сильным сходством между нами, но и моим безумным видом, и это побудило его пойти за мной. Увидев, что я бросился в воду, он нырнул за мной и смог меня вытащить.

— Вы видели его когда-нибудь еще?

— Видел, мой бедный друг! Но это уже другая история из моей слишком насыщенной событиями жизни. Возможно, когда-нибудь я

расскажу ее вам.

— Вы оказались в морге; что же было дальше?

— Я попросил отвезти меня в ближайшую больницу, где у меня была бы отдельная палата, чтобы я никого не видел и никто не видел меня; мне было плохо, очень плохо.

Я уже собирался сесть в экипаж и уехать, когда привезли завернутый в материю труп. Сказали, что это был молодой человек, который только что покончил с собой.

Я вздрогнул от ужаса, мною овладело страшное подозрение. Я упросил сопровождавшего меня доктора, чтобы тот приказал кучеру остановиться. Я должен посмотреть на этот труп. Должно быть, это Телени. Врач мне не внял, и кеб продолжил свой путь.

Прибыв в больницу, мой сопровождающий, видя мое душевное состояние, послал узнать, кем был этот покойный. Названное имя было мне незнакомо.

Прошло три дня. Когда я говорю «три дня», то имею в виду томительное, бесконечно тянущееся время. Успокаивающее, которое дал мне доктор, усыпило меня и даже уняло ужасную нервную дрожь. Но какое успокоительное может излечить разбитое сердце?

На третий день меня разыскал мой управляющий и пришел навестить. Увидев меня, он пришел в ужас.

Бедняга! Он был в полной растерянности и не знал, что сказать. Он избегал всего, что могло бы меня разволновать, и поэтому говорил о делах. Я немного послушал, хотя его слова не имели для меня никакого смысла, а затем вытянул из него информацию о том, что моя мать уехала из города и уже написала ему из Женевы; сейчас она находилась там. Имени Телени он не упомянул, а я не посмел его произнести.

Он предложил мне комнату в своем доме, но я отказался и вместе с ним отправился к себе. После отъезда матери я был обязан поехать домой и пробыть там хотя бы несколько дней.

Во время моего отсутствия никто не приходил, никто не оставил мне ни письма, ни записки, так что я тоже мог бы сказать:

«Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в дому моем и служанки мои чужим считают меня; посторонним стал я в глазах их»^[128].

Как и Иов, я чувствовал, что «гнушаются мною все наперсники мои; и те, которых я любил, обратились против меня. Даже малые дети презирают меня».

И все же я очень хотел узнать что-нибудь о Телени, ибо страх окружал меня со всех сторон. Неужели он уехал с моей матерью и не оставил для меня даже маленькой записки? Но что он мог написать?

Если же он остался в городе, то разве я не говорил ему, что, какова бы ни была его вина, я всегда прощу его, если он отошлет мне кольцо?

— И отошли он кольцо, вы бы его простили?

— Я любил его.

Больше я не мог выносить неизвестности. Правда, пусть даже самая горькая, была лучше ужасных сомнений.

Я зашел к Брайанкорту. Его студия была закрыта. Я отправился к нему домой. Там он не появлялся уже два дня. Где он находился, слуги не знали. Они предположили, что он, возможно, уехал к отцу, в Италию.

Я в отчаянии бродил по улицам и вскоре вновь очутился перед домом Телени. Входная дверь по-прежнему была открыта. Я прокрался мимо швейцарской, боясь, что меня остановят и скажут, что моего друга нет дома. Однако никто меня не заметил. Дрожа и замирая от страха, я пробрался вверх по лестнице. Я вставил ключ в замочную скважину, дверь, как и несколько дней назад, бесшумно отворилась. Я вошел внутрь.

Тут я спросил себя, что же делать дальше, и уже готов был развернуться и бежать прочь.

Пока я стоял в нерешительности, мне показалось, что я услышал слабый стон. Я прислушался. Все было тихо.

Нет, все-таки это был стон — тихий предсмертный вой. Он, казалось, доносился из белой комнаты. Я содрогнулся от ужаса.

Я бросился туда.

При воспоминаниях о том, что я там увидел, у меня кровь стынет в жилах. «Лишь только я вспомню, содрогнусь, и трепет объемлет тело мое».

Я увидел лужу загустевшей крови на ослепительно белом меховом ковре, и Телени, наполовину распростершегося на полу, наполовину — на покрытой медвежьей шкурой тахте. В груди его торчал маленький кинжал, и из раны все еще сочилась кровь.

Я рухнул на него; он еще был жив; он стонал. Он открыл глаза.

Раздавленный горем, охваченный ужасом, я совершенно лишился рассудка. Я отпустил его голову и зажал ладонями свои пульсирующие виски, стараясь собраться с мыслями и как-то помочь моему другу.

Нужно ли вынуть нож из раны? Нет, это может убить его.

О, если бы я был хоть немного сведущ в хирургии! Но поскольку я ничего в этом не смыслил, мне оставалось лишь позвать на помощь.

Я выбежал на лестничную площадку и крикнул что было сил: «На помощь, на помощь! Пожар, пожар! Помогите!»

Мой крик прокатился по дому как раскаты грома. Тут же выбежал швейцар.

Я слышал, как открывались окна и двери. Я снова крикнул: «На помощь!» и, схватив бутылку коньяка, стоявшую в буфете в столовой, поспешил к моему другу. Я намочил ему губы и постепенно, капля за каплей, влил в рот несколько ложек бренди.

Телени вновь открыл глаза. Их застилала пелена, они были почти мертвы; только обычная печаль его взгляда стала такой невыносимой, что зрачки были похожи на мрачную зияющую могилу; они причиняли мне невыразимые муки. Я не мог выдерживать этот скорбный застывший взгляд; я оцепенел; дыхание мое остановилось; я разразился судорожными рыданиями.

«О, Телени, зачем вы убили себя? — стонал я. — Как вы могли усомниться в моем прощении, в моей любви?»

Очевидно, он слышал меня; он попытался что-то сказать, но я не уловил ни единого звука.

«Нет, вы не должны умирать, я не могу с вами расстаться, вы — моя жизнь».

Я почувствовал, как он слабо, еле уловимо пожал мою руку.

Появился швейцар и в ужасе замер в дверном проеме.

«Врача, ради бога — врача! Возьмите кеб скорее!» — умоляюще проговорил я.

Стали приходить и другие люди. Я жестом велел им уйти. «Закройте дверь. Никого не впускайте, но ради всего святого приведите врача, пока еще не слишком поздно!»

Люди стояли поодаль и со страхом наблюдали это ужасающее зрелище. Телени снова зашевелил губами.

«Тихо! Тишина! — прошептал я яростно. — Он что-то говорит!»

Меня мучило то, что я не мог разобрать ни единого слова из того, что он хотел мне сказать. После нескольких тщетных попыток, мне удалось расслышать: «Прости!»

«Прощаю ли я вас, мой ангел? Да я не только прощаю вас, я отдал бы за вас жизнь!»

Его скорбный взгляд стал еще мрачнее, однако в нем появилась тень радости. Мало-помалу глубокая печаль наполнилась невыразимой сладостью. Я больше не мог вынести его взгляда; он терзал меня. Горящий в нем огонь проник в мою душу.

Он снова произнес целую фразу, из которой я скорее угадал, чем расслышал два слова: «Брайанкорт... письмо».

После этого силы совершенно покинули его.

Я смотрел на него и видел, что его взор затуманился, окутался легкой дымкой, он меня уже не видел. Глаза потускнели и стали стеклянными.

Он не пытался говорить, губы его были плотно сжаты. Несколько секунд спустя он судорожно открыл рот; он задыхался. У него вырвался тихий прерывающийся хрип.

Это был последний вздох. Страшный предсмертный хрип. В комнате воцарилась тишина.

Я видел, как люди крестились. Некоторые из женщин опустились на колени и стали молиться.

В голове сверкнула страшная мысль. Так, значит, он умер?

Голова его безжизненно упала мне на грудь. У меня вырвался пронзительный крик. Я звал на помощь.

Наконец пришел врач. «Ему уже ничем не поможешь, — сказал он, — он мертв».

Что?! Мой Телени мертв?!

Я оглядел людей вокруг. Они в ужасе шарахались от меня. Комната поплыла у меня перед глазами. Больше я ничего не помню. Я потерял сознание.

Я пришел в себя только через несколько недель. Мною овладело некоторое отупение, а Земля для странника пустыней стала.

Однако мысль о самоубийстве больше никогда не приходила мне в голову. Смерти я был не нужен.

Тем временем моя история в завуалированном виде обошла все газеты. Для сплетников она была слишком лакомым кусочком, чтобы

не распространиться с быстротой огня.

Даже письмо, которое Телени написал мне перед тем, как покончить с собой, и в котором говорилось, что причиной его измены явилось то, что моя мать оплатила его долги, стало достоянием общественности.

И тогда небеса увидели мою порочность, а земля восстала против меня, ибо если общество и не требует от вас быть истинно добродетельным, то оно требует соблюдать внешние приличия, но самое главное — избегать скандалов. Поэтому известный священник — святой человек — прочел назидательную проповедь, которая начиналась так:

«Память о нем исчезнет с лица земли, и имени его не будет на площади...»

А закончил он словами:

«Изгонят из света во тьму, и сотрут его с лица земли».

И все друзья Телени, все эти Зофары, Элифазы и Билдады громко сказали «Аминь!».

— А как же Брайанкорт и ваша мать?

— Ах да, я обещал вам рассказать о ее приключениях! Может быть, в другой раз. Они того стоят.

notes

Примечания

1

«место в партере» (фр.). *Здесь и далее примеч. ред.*

«Гавот» (фр.)

«янтарная лаванда» (фр.)

Люлли Жан-Батист (1632–1687) — знаменитый французский композитор, придворный музыкант Людовика XIV, автор многих опер и музыки к пьесам Мольера. Далее упоминается одно из самых известных сочинений Люлли — «Гавот желтых дам». Ватто Антуан (1684–1721) — известный французский живописец, автор ряда жанровых картин галантного, пасторального или аллегорического содержания.

«Не думая об этом» (ит.)

По видимому, имеется в виду Франц Лист

Альгамбра- знаменитый дворцовый комплекс в Южной Испании.

Адриан (76-138) — римский император; его возлюбленный — раб Антиной принял на себя святотатство, совершенное императором, и был казнен.

Имеется в виду библейский сюжет (Быт. 10: 19–25): Господь послал двух ангелов в виде прекрасных юношей в грешный город Содом, где их встретил и приютил в своем доме праведник Лот. Когда же грешники содомляне пожелали «познать» пришельцев, Лот защитил их, после чего был с семьей выведен ангелами из Содома, а город за грехи жителей был поражен огненным дождем.

Детский сад

Оборотная сторона медали.

До свидания

«Говорят, он — фаворит» (фр.)

Белый гелиотроп

15

Страстное желание, тоска (нем.)

Заработок, (фр.)

«Милый друг»

Ищите женщину (фр.)

Персонаж романа М. де Сервантеса «Дон-Кихот», воплощение образа Прекрасной Дамы, существовавшей только в воображении героя.

Лицея (фр.)

Длинный плащ свободного кроя с поясом, шился из фриза, изготавливавшегося в провинции Ольстер (Великобритания). Эта местность отличается дождливым климатом.

«ТОЛЬКО», (фр.)

Или я кричать! Кондуктор, заставьте выйти этого господина
(ломаный фр. попеременно с англ.).

Сосуд из тумбочки (ит.), т. е. ночной горшок.

«Пассажиры, направляющиеся в..., по вагонам!»

«Гарсон, попросите господина не говорить непристойностей за столом».

пансионе

«О, мадемуазель! Простите!» (фр.)

«Глупец... кретин... дурак...зверь... животное!» (фр.)

Геркулес (Геракл) — один из центральных персонажей греческой мифологии, полубог, наделённый невероятной физической силой.

«пресыщенным» (фр.)

Герой романа Лонга «Дафнис и Хлоя» (прибл. III в. н. э.), приобщённый к чувственной любви арфисткой Ликенион.

Район Парижа, в XIX в. населённый, в основном, студентами.

«гризеткой» (фр.)

«КОКОТКОЙ» (фр.)

«горизонталка», проститутка (фр.)

Аретино Пьетро (1492–1556) — итальянский поэт-сатирик, автор эротических поэм.

«помахать греблом» (ит.)

подхватив вирус сифилиса

кафешантан, кафе с музыкальной программой

Иезавель — нечестивая библейская царица, символ распутства и разврата (см.: 3 Цар. 16:31).

Лаокоон — троянский прорицатель, согласно мифу будто бы возражавший против того, чтобы оставленный греками деревянный конь был внесен в град. Присланные покровительницей греков богиней Афиной змеи задушили его. Лаокоон, обвитый змеями, — популярный сюжет античной скульптуры.

Один из съедобных видов улиток, водящихся во Франции.

Суламифь — возлюбленная библейского царя Давида. Далее пародируются поэтические образы Песни Песней (4:4; 6:6; 7:3).

«Давай, дорогой, сделай минет своей кошечке» (фр.)

«Лепесток розы» (фр.)

«Ай, вот так, так, хватит, ай, всё!» (фр.)

«ковырялка» (фр. вульг.)

Возможно, проституток не доставало, а может быть, так делалось ради развлечения.

«Глянь-ка на эту пизду» (фр.)

«А! Грязный гомосек!» (фр.)

Миссис Гранди — персонаж романа Т. Мортонa, законодательница общественного мнения в вопросах приличия.

Минос — в древнегреческой мифологии — царь Крита. Герой Тесей освободил Миноса от тирании получеловека-полубыка Минотавра, которому в виде дани раз в девять лет отдавали на съедение семерых юношей и девушек.

Ориген (III в. н. э.) — раннехристианский богослов, один из первых святых. В юности подвергся самооскоплению.

миньоны, фавориты (фр.)

Тамплиеры (Рыцари Храма) — раннесредневековый рыцарский орден. Ликвидирован в XIII в. как допускавший в своих обрядах ересь, в том числе, предположительно, — ритуальное мужеложство.

Эвфемистическое название презерватива.

Иосиф — библейский герой, проданный братьями в рабство и отвергший любовные домогательства жены своего хозяина (Быт. 39: 7-13)

Овидий Публий (Овидий Назон, 43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — великий древнеримский поэт, автор знаменитых любовных элегий.

«завязать шнурки» (фр.)

«Перейти черту — значит чего-то лишиться (фр.)

«задом» (фр.)

Ганимед — в греческой мифологии прекрасный мальчик, виночерпий олимпийских богов, любимец Зевса

«епископ» (фр.)

Пелена в Иерусалимском храме, скрывающая «святая святых» — Ковчег Завета. Разорвалась надвое в момент смерти Христа (Мф. 27: 51; Мк. 15: 38).

«волей-неволей» (лат.)

«педераст» (фр.)

Она стояла к нему спиной.

Имеется в виду эпизод Троянской войны. Вещая царица Кассандра, в чьи пророчества о гибели Трои никто не верил, при падении города пыталась укрыться в храме, но стала добычей победителей и рабыней.

выскачка (фр.)

проститутка, зазывающая клиентов (фр.)

Имя двух неразлучных близнецов из «Комедии ошибок» Шекспира.

писсуар (фр.)

Пилат Понтий — в 1 в. н. э. правитель Иудеи. По преданию, вымыл руки, чтобы показать свою непричастность к казни Христа (Мф. 27: 24).

«Тот, кто сосёт дротик» (фр.)

«Театральный эффект» (фр.)

Стикс — согласно греческой мифологии, река, служащая границей царства мертвых.

Один из сюжетов «Божественной комедии» Данте повествует о платонической любви Франчески да Римини к Паоло, младшему брату ее супруга Джованни Малатеста. Оба были убиты ревнивцем.

«пеньюары» (фр.)

паштет из гусиной печени (фр.)

Гамлет — герой одноименной трагедии Шекспира, которому явилась тень его убитого отца.

Яго — персонаж трагедии Шекспира «Отелло», коварный и вероломный интриган.

Государство в Индии в XVI — XVII вв. — олицетворение неисчерпаемого источника богатства; славилось ремеслами и месторождениями алмазов.

«любовная связь» (фр.)

«ЖОПНИК» (фр.)

«отъявленные мошенники, головорезы» (ит.)

«второе «я»; «двойник» (нем.)

Согласно исторической легенде, королева Елизавета I (1533–1603) подарила своему фавориту графу Роберту Эссексу (1567–1601) некий перстень как залог любви и верности. В 1601 г. Эссекс поднял мятеж против королевы и был арестован. Королева якобы ждала, что мятежный возлюбленный пришлет ей кольцо в знак раскаяния и в напоминание о любви, но не дождалась, и Эссекс был казнен.

Части легкой кавалерии во французских колониальных войсках в 1831–1862 гг.; формировались в Северной Африке.

Сократ (469–399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, практиковавший со своими учениками унизительную для них разновидность мужеложства, за что и был казнен. Ксантиппа — жена Сократа, оставшаяся в истории как сварливая и истеричная женщина.

Задиг — герой одноименной философской повести Вольтера, мудрый вельможа.

«Ряса ещё не делает монаха» (фр.)

«Великого монарха» (фр.)

Стерн Лоуренс (1713–1768) — знаменитый английский писатель основатель школы сентиментализма.

Частая деревянная решетка в окне, характерный фрагмент восточной архитектуры (фр.)

Технология росписи стен горячими красками на восковой основе.

да Винчи Леонардо (1452–1519) — великий итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый.

Грез Жан-Батист (1627–1805) — французский художник, в чьем творчестве часты слащаво-сентиментальные сюжеты.

из воска (фр.)

завиток на виске, букв.: «Привлекающий сердца» (фр.)

Супруга праведника Лота, которому Бог позволил с семьей покинуть обреченный Содом, была превращена в соляной столп за то, что, вопреки запрету, оглянулась на уничтоженный город.

Аллюзия на сцену из «Золотого осла» Апулея.

«праздник» (фр.)

Лукулл Луций Лициний (110-57 до н. э.) — римский консул и военачальник, прославившийся своим чревоугодием.

Рыбный суп на воде или вине со множеством специй, типичное блюдо средиземноморской кулинарии (фр.)

«венец скромницы» (фр.)

«живая картина» (фр.)

«мэтр языков» (фр.)

«Спасайся, кто может» (фр.)

Одна из ветвей английского и шотландского протестантизма, альтернативная англиканской церкви.

По-французски это словосочетание означает как «продвижение по службе», так и «продвижение в теле».

Скрытая цитата из «Ромео и Джульетты» В. Шекспира.

«кордебалет» (фр.)

«незаконный союз» (фр.)

«приличия» (фр.)

«великосветским дамам» (фр.)

Ламартин Альфонс де (1790–1889) — французский политический деятель и писатель, принадлежащий к старшему поколению французских романтиков.

Пенелопа — в греческой мифологии супруга царя Итаки Одиссея, которую за время его двадцатилетнего отсутствия осаждали женихи — претенденты на власть над Итакой.

«Слабели, но не насыщались» (лат.). Мессалина — римская императрица, прославившаяся развратностью.

Леотар — известный французский цирковой гимнаст XIX в.

Даме с камелиями (фр.) — героиня известной одноимённой пьесы А. Дюма-сына.

«судьба» (тур.)

Несс — в греческой мифологии кентавр, влюбившийся в супругу Геракла Деяниру и покусившийся на ее честь. Был убит отравленной стрелой. Перед смертью посоветовал Деянире собрать его кровь, которая якобы является приворотным средством. Приревновав к пленнице Иоле, Деянира пропитала хитон Геракла кровью Несса и тем обрекла супруга на мучительную смерть.

«антресоли», «верхний полуэтаж дома» (фр.)

Цитера — в греческой мифологии нимфа, владевшая Островом Любви.

Намек на известный эпизод романа Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии».

«Боже мой!» (фр.)

Здесь и далее цитируется Книга Иова. Иов — библейский праведник, чью веру Господь испытывал, насылая на него и его семью разнообразные бедствия.